



ИДЕН- ТИЧ- НОСТЬ

Леонид
Подольский

Леонид Подольский

Идентичность

«Автор»

2026

Подольский Л. Г.

Идентичность / Л. Г. Подольский — «Автор», 2026

Сложный и многоплановый роман: это одновременно семейный эпос и повествование о двухтысячелетних странствиях еврейского народа (галуте), о его истории и традициях, о жизни евреев в России, о государственной идеологии в СССР, об ассимиляции и о возрождении национального самосознания после Шестидневной войны. Одновременно это роман о советской и российской жизни, о раздвоении сознания галутных евреев, о борьбе с тоталитарной системой за право на выезд, о демократическом движении в России, о диссидентах и «узниках Сиона», о героической борьбе за свое государство. Наконец, это роман о тысячелетнем русско-еврейском взаимодействии, о древней Хазарии и древней Руси, о том, почему самосознание «малого народа» отличается от самосознания «большого народа».

© Подольский Л. Г., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	82

Леонид Подольский

Идентичность

Глава

ИДЕНТИЧНОСТЬ

Одно из самых первых воспоминаний Лёнечки: они с Аликом, приятелем, ползут по широкому клеверному полю, обрамленному невысоким кустарником. Алик был старше, классе в третьем или четвертом, а Лёнечка совсем маленький. Зато у него есть игрушечный пистолетик, громко стреляющий пистонами, а у Алика ружье заменяла сучковатая палка.

— Стоп, прижались к земле, — скомандовал Алик. — Там хайгитлы. Пли! Пли!

Прежде чем Лёнечка вместо выпавшего пистона достал из кармана коробочку, зарядил новый и, лежа в траве, от чего модные брючки, привезенные папой из Вильнюса, и сшитая тетей Соней матроска выпачкались зеленою на коленях и локтях, — прежде чем Лёнечка сумел зарядить свой пистолетик и выстрелить, Алик успел расстрелять целый взвод неведомых хайгитл и, торжествуя, устремился брать в плен раненого языка.

— Кто такие хайгитлы? — стал расспрашивать на бегу Лёнечка.

— Немцы, — гордо объяснял Алик. — Они все время кричали «Хайль Гитлер».

— А ты сам видел хайгитл? — заинтересовался Лёнечка.

— Нет, я был еще маленький. Я не помню. А мамка, мы же в войну жили в Белоруссии, пока дом не сгорел, мамка видела. Один хайльгитлер даже долго у нас жил.

— Он что, и ночью кричал? — спросил Лёнечка.

— Все время. И днем, и ночью, — заверил Алик.

Когда Лёнечка вернулся домой, тетя Соня сильно расстроилась.

— Вывозил новый костюмчик. Зеленень не сходит. Папа будет ругаться, — тетя ловко стащила с Лёнечки курточку, которую почемуто называла ковбойкой, и брючки и велела домработнице Марусе срочно стирать.

— Ах, этот Алик, — продолжала сердиться тетя Соня. — Вечно чтонибудь выдумает. Изза его языка у Аликиной мамы обязательно будут неприятности.

Недели две назад Алик поскользнулся и скатился вниз с края глинистого обрыва. Сам он, к счастью, остался цел, зато единственные его штопаныеперештопаные брюки, перешитые из старых отцовских, все были перепачканы мокрой глиной и к тому же сильно порвались от ветхости. Аликина бабушка от расстройства стащила их с Алика и прилюдно лупила ими внука по голому задку. Лёнечка запомнил, что она сильно причитала и ругалась, потому что носить Алику больше было нечего.

— Что вы там делали? — спросила тетя Соня, указывая в сторону бревенчатых домиков, где располагался госпиталь.

— Воевали с хайгитлами, — гордо сообщил Лёнечка. Домработница Маруся громко рассмеялась, а тетя Соня отчего-то испугалась.

— Нельзя никогда говорить «Хайль Гитлер», никак нельзя говорить, за это очень сильно накажут, — стала внушать тетя. — Они очень плохие, страшные. Аликиного папу убили. И нашего дядю Лёву, а нас всех хотели расстрелять. И очень много людей сожгли в печах.

Лёнечка недоумевал, отчего так испугалась тетя Соня. Ведь они с Аликом защищали советскую страну, убивали страшных хайгитл. Про печи Лёнечка тогда ничего не понял.

2

На сей раз вместе с Юриком и Женей Макаровыми, Лёначкиными приятелями, в сарае на резиновой надувной лодке сидела Валечка, их двоюродная сестричка, очень красивая девочка с кудряшками лет трехчетырех, внучка начмата. В госпитале и среди соседей начмат считался очень важной персоной. Бывший военный, кавалер чуть ли не всех орденов, в будние дни он ходил в кителе без погон и в хромовых сапогах, смотрел на окружающих пристально и оценивающе, словно видел насквозь и взвешивал на какихто особых весах, разговаривал всегда веско и строго и был исключительно немногословен; соседи его уважали и одновременно побаивались и, если о чемто хотели просить, а просить было о чем, потому что в его распоряжении имелись машины, извозчики с лошадьми, госпитальные склады и рабочие, всегда обращались к жене, которая заведовала в госпитале аптекой. Тетя Соня рассказывала, что начмат — полковник, прошел всю войну от Сталинграда до Берлина и при этом, счастливчик, ни разу не был ранен.

— Юрей, — сказала вдруг Валечка, будто хотела сказать чтото обидное.

— Что? — не понял Лёначка.

— Юрей, — повторила Валечка.

— А что такое «юрей»? — спросил младший из братьев Макаровых, Женя.

— Это чтото нехорошее, — сказала Валечка. Она очень нравилась Лёначке и оттого ему было особенно неприятно, что она его за чтото не любит, хотя за что именно и что это за «юрей», он так и не понял, тем более что за него тут же заступился Юрик и велел Валечке замолчать.

Дома Лёначка спросил у тети Сони: «Что такое юрей?»

— Кто это сказал? — спросила тетя.

— Валечка. Внучка начмата.

— Не играй с ней, — сказала тетя Соня.

— Почему?

— Она нехорошая, — Лёначка так ничего и не понял тогда, догадался лишь годы спустя, но Валечка попрежнему ему нравилась, хотя он не играл больше с ней. Впрочем, совсем не изза совета тети Сони. Валечка жила с родителями в другом месте и нечасто приходила к бабушке с бабушкой, к тому же в редкие свои приходы почти всегда играла с девочками.

Вечером тетя Соня пересказала разговор папе. Лёначка не слышал, что говорила тетя Соня, но догадался, потому что папа сказал:

— Они, видно, дома так говорят. А ведь не подумаешь. Фронтовик, полковник, очень уважительный. Рассказывал както, как они освобождали Освенцим. Страшное место.

3

Папа был умный человек. Энергичный и умный. И вроде бы удачливый: не погиб, выбрался из окружения, не сидел, заведовал кафедрой, не бедствовал. И в то же время судьба его оказалась сломана. Оттого он, возможно, и умер в шестьдесят...

...Мимикрия — это оказалась тяжелая болезнь: мимикрировать, прятать душу от чужих глаз, скрывать свое «я», глубинное, интимное, страх, вечный страх, как у разведчика... Лишь в последние годы папа стал приоткрываться. Но многое, очень многое Леонид Вишневецкий додумывал потом, без отца уже, когда и спросить стало некого. Коечто рассказывала мама. Но Леонид не всегда осмысливал. Складывал на полку памяти, откладывал на потом, а когда наступило это «потом», когда появилось время — уже в Израиле, — никого не осталось. Он — последний...

Вспоминая и размышляя, бродил Леонид Вишневецкий до полуночи по опустевшим пляжам БатЯма или Нетании — издали дуновения ветра доносили иногда до слуха музыку; музыку

свадеб, плач скрипок о прошлом, о несостоявшемся счастье или, наоборот, взрывы неистового веселья. Сам Леонид любил слушать другую мелодию: раздумчивый шум вечных приливовотливов, таких же, как слушали цари Саул, Давид и Соломон, рабби Акива¹, Иоанн Креститель и сам Христос. Он шел обычно вдоль моря, любовался звездами и думал: его жизнь сложилась не совсем так, как он хотел бы — Леонид всю жизнь жалел, что не изучал философию и историю, что не постиг, не узнал что-то очень важное, он всю жизнь проработал врачом — и все равно он был счастлив. Он был счастлив оттого, что вокруг него дети и особенно внуки. Не очень близкие, он слабо усвоил иврит; они, пожалуй, считали его чудачком, не понимали его мечтательность, его глубокую задумчивость, язык, на котором он разговаривал, но какое это имеет значение? Главное, что он живет в своем мире и среди своих. И еще он был счастлив оттого, что похоронят его в родной земле, которую господь Бг завещал праотцу Аврааму. Слова ТельХай², Мегиддо³, ЭльКунейтра⁴, Масада⁵ наполняли его грудь гордостью и заставляли чаще биться его сердце.

4

В отличие от Лёни, отец никогда не был свободен, и никогда не довелось ему ступить на Землю Израиля. Он принадлежал к поколению, которое, повторяя судьбу дальних предков, снова оказалось во власти фараона. Странная судьба и — жестокая. Отец был победителем, чуть ли не всю войну прошел политруком, дослужился до полковника, всю грудь его украшали ордена и медали и однако... Победа над злом не означала безусловного торжества добра... Лёня был слишком молод, всего двадцать два года, когда умер отец. Многие узнал он потом: какие-то детали, факты, фотографии, мамыны случайные рассказы, тети Сонины — многое постиг он позже, реконструировал, особенно в последние годы, кроме одного, главного — отчего отец стал историком и философоммарксистом? Верил, поддавался обману, как большинство юношей и девушек его поколения или? Наверное, верил, но разочаровался...

К тому времени, когда Лёня себя помнил, от прежней веры у отца мало что оставалось, он все понимал, но... Нельзя было этого говорить. Отец был обречен на молчание или ложь. Папа выбрал ложь. Это был не его выбор. Он очень мучился, не признавался, быть может, даже самому себе. И только иногда прорывалось. Когда советские танки вошли в Прагу или когда Лёня заканчивал школу и хотел поехать в Москву поступать в МГИМО. «В МГИМО евреев не берут, — сказал отец. — С конца тридцатых годов. С того времени, как у Сталина случился любовный роман с Гитлером». «Тогда в МГУ», — настаивал Лёня. «Нет, на историю или философию только через мой труп. Пустые догмы. Десятилетиями ни одной свежей мысли. Когда-нибудь все это лопнет. Останешься без работы. Хватит с нас того, что меня всю жизнь мучило. Лучше иди в медицинский. С твоей головой ты легко сделаешь кандидатскую и докторскую».

Да, так случилось, что Лёня не сам выбрал, отец. Он вроде хорошим стал врачом и даже профессором, но интереса особого, идей особенных у него не было. И всю жизнь потом сердился на отца. Особенно, когда жизнь повернулась. Когда папа оказался прав и все действительно лопнуло и посыпалось — с треском и вонью... Только в одном отец ошибся: вчерашние философы и политэкономы вовсе не отошли в сторону, напротив, оказались востребованы и на самом верху. Имто и доверили делать реформы. Впрочем, и врачи встречались, особенно детские. Вскоре выяснилось, что не слишком профессиональная, зато весьма вороватая публика. Увы, других не было. За семьдесят лет все оказалось выбито...

5

О том времени, когда отец учился в институте и как он попал на историкофилософский факультет — при том, что детей из зажиточных в прошлом непролетарских семей в вузы не

брали, а на исторический факультет особенно, — Леонид Вишневецкий ничего узнать не мог, все к тому времени умерли и спросить было не у кого. Вроде тогда же отец вступил в партию, а может и раньше, в армии, где он целый год служил в кавалерии. Отчего в кавалерии и где отец научился верховой езде, где вообще отец учился — в гимназии, реальном училище, в талмуд-торе⁶ или в новообразованной полуграмотной советской школе, этого Леонид не узнает уже никогда. Знал он только, что дедушка до революции был довольно крупным скототорговцем. Но вот про аспирантуру у профессора Блюмкина в семье вспоминали не раз. Видно, в аспирантуре, если, конечно, не раньше, отец и получил изрядную прививку сомнений. А может и вовсе разочаровался в Советской власти.

Яков Моисеевич Блюмкин к знаменитому в двадцатые годы Блюмкину, чекисту, террористу, авантюристу, разведчику и поджигателю революций⁷ никакого отношения не имел, но и сам был немало знаменит. Даже чемто похож по биографии. Посвоему он был личность выдающаяся, каких немало выдвинули подполье и революция, хотя и уходящая натура: революционер, давний соратник Ленина, искровец, краснобай, золотое перо партии, агитатор — этот человек с орлиным носом и буйной седой шевелюрой, в чеховском пенсне, внешнестью фатально похожий на Троцкого, притом чрезвычайно легкомысленный при всей своей гигантской, хотя и довольно односторонней эрудиции, выходец из небедной семьи, учившийся когда-то в Геттингене, где из первых рук изучал классическую немецкую философию, принадлежал к поколению, которому суждено было потрясти мир и сойти в им же созданный ад. Тут не только злая, беспощадная воля Сталина, тут много больше, *историческая несовместимость* старых западниковмарксистов, мечтателей, теоретиков, людей поэмы и фразы, воображавших себя мессиями, много лет проживших за границей, и мрачных, исполнительных, бесчувственных сталинских людей дела; комплексующих интеллигентов, не сумевших вырвать до конца остатки старой буржуазной гуманности, плохо знающих Россию, и новых безжалостных стадных людей, смутно знавших теорию, никогда не читавших Маркса, но зато пропитанных пролетарским сознанием, требовавших человеческих жертвоприношений во имя неясной, далекой, но априори высокой цели. За Блюмкиным, как и за каждым из людей легенд ленинского поколения, из этих идолопоклонников, заменивших революцией Бога, тянулся, с одной стороны, ореол подвижника и мученика, прошедшего через архангельскую ссылку, но с другой, — длинный шлейф немалых грехов, с каждым годом становившихся все более непростительными. В семнадцатом он вместе с Троцким заседал в Петросовете и, хоть особой роли не играл, рядовой депутат, и в близости к Троцкому не был в то время замечен, меньшевик, мартовец⁸ — он не только в том был виноват, что меньшевик, что в октябрьские дни колебался вместе с Зиновьевым и Каменевым, но и — *живой свидетель*. По определению не мог он поверить в сталинскую легенду, в Краткий курс, к тому времени еще не написанный, онто не понаслышке знал про «сталинскую школу фальсификаций»⁹. И в Гражданскую пути комиссара Блюмкина проходили очень близко и даже несколько раз пересекались — Яков Моисеевич бывал удостоен аудиенций в знаменитом бронированном поезде у могущественного наркомвоенмора¹⁰. Между тем с легкомыслием, непостижимым по тем временам, профессор Блюмкин, подвыпив в гостях, а в гости он ходить любил, вдовец был и смолodu привык волочиться, ручки побуржуазному целовать дамочкам, старый испытанный ловелас, волокита, както по молодости с женой начальника тюрьмы закрутил роман; при виде молодых женщин у Якова Моисеевича открывалось особенное, неудержимое красноречие. Да, так вот, подвыпив, Яков Моисеевич Блюмкин начал однажды рассказывать, что Сталин, великий и ужасный, во время революции был отнюдь не на первых ролях, не у дел, в решающий момент вроде Ленина охранял — только какой из него охранник? — да и сам Ленин, пламенный трибун революции, нестигаемый, сильно трусил: до последнего сидел в Разливе, а вернувшись, в Смольном — временное правительство агонизировало уже, не имело ни власти, ни сил, кроме разве что женского батальона — Ленин

продолжал ходить, маскируясь, с завязанной головой, вроде как от зубной боли. Так вот, выходило, что главный вождь революции — Троцкий. И вовсе не Ворошилов с Буденным побеждали белых, а бывшие царские генералы. Ну, Троцкийто дворянская фамилия, украденная, в Одессе проживал тюремный надзиратель с такой фамилией, известный довольно в революционных кругах, понастоящему вовсе не Троцкий, а Бронштейн. Из тех Бронштейнов, которым крепко достается, когда Троцкие делают революцию.

Эти разговоры совсем безответственными, не по времени и не к месту показались отцу, он и много лет спустя рассказывал со смешанным чувством удивления и осуждения: перебрал сверх всякой меры еврейский профессор. Как гой¹¹.

Да если бы только пьяная болтовня. Успел отметиться Блюмкин и в троцкистскозиновьевской оппозиции. Как он туда влез, зачем, с чем был не согласен, да и вообще, был ли это действительно принципиальный спор или обыкновенная грызня — за власть, конечно: то Сталин с Каменевым и Зиновьевым против Троцкого, то Зиновьев и Каменев, спохватившись, что всю власть забрал Сталин, попытались отыграть назад — во всем этом разобраться было сложно, но не исключено, что идейная сторона спора и гроша ломаного не стоила, одни слова, хотя, конечно, не исключено: вера. Недаром ведь фанатики. Как другие верили в Бога, так и эти, и Блюмкин с ними, веровали в мировую революцию. Спорили с ненавистью, с завистью, с пеной у рта, с яростью, усиленными тысячекратно вкусом близкой власти, власти абсолютной: можно ли построить социализм в отдельно взятой стране или ждать мирового пожара. Не просто ждать — *поджигать*. В итоге и те и другие оказались неправы: *ни мировой революции, ни социализма* не вышло, потому что то, что построили — это вовсе не социализм, а пародия. А что такое социализм, так и не определили. Словом, как пауки в банке: самый сильный, жирный и хитрый переделал остальных.

Это отец так говорил незадолго до смерти. К тому времени он не верил ни на йоту, а оттого особенно противно было ему преподавать, лгать, давно прозревшему. Год шел шестьдесят восьмой, советские танки давили «пражскую весну», а вместе с ней последнюю, отчаянную надежду. Хотя, скорее всего, «пражская весна» с самого начала была обречена, а конвергенция оказалась утопией. «Теперь ты понимаешь, сынок, почему я не хотел, чтобы ты поступал на философский».

Одним словом, мудрый Блюмкин во все это дерьмо влез по уши и был публично, несмотря на торжественное покаяние, исключен из партии. Времена, однако, были еще либеральные, своих пока не расстреливали, хотя, не исключено, уже составляли списки — некоторое время спустя партбилет вернули. Левые еще могли пригодиться — против правых. Сталин, надо отдать ему должное, всегда был центристом.

Блюмкин, однако, не утихомирился. С опозданием он уверовал в НЭП и проникся верой в мужика, которого раньше считал тормозом революции. Станный феномен: его догматический ум постоянно не успевал за зигзагами линии партии. Как пели в частушке в семидесятые: «он еще искореняет, что давно пора внедрять».

Так вышло, что во второй половине двадцатых раскаявшийся и до времени прощенный Блюмкин устроился в Институт красной профессуры¹², где и попал под влияние Бухарина. Два теоретика, оба они теперь ратовали за вращение кулака в социализм, за многоукладность деревни, за кооперацию.

Они, конечно, были правы, они, а не Сталин, ржавой смертельной косой прошедшийся по деревне, избравший путь своего самого главного в жизни врага. Но... «Широты мысли на миллион, а ума ни на грош», как отец говорил. Они о деревне спорили, о сельском хозяйстве, о мужике, а спорто шел о централизации, о способах управления, *о власти и единоначалии*, о социализме — каким ему быть, об индустриализации даже. Они — на человека смотрели, хоть краешком глаза, а Сталин — великую державу строил, в которой люди — только винтики в задуманной им конструкции, самовоспроизводящийся материал. Вот так и вылетели они оба:

Бухарин — из Политбюро, процессы и казнь его еще были впереди, а профессор Блюмкин — во второразрядный институт на Украину, где сталинскую политику железной рукой проводил местный вождь Косиор¹³. На Украине и увидел красный профессор Блюмкин практические последствия недавнего теоретического спора, выигранного Сталиным — голодомор¹⁴. Вождь не лукавил, когда разъяснял¹⁵, что индустриализацию оплатит крестьянство. А за ценою мы, как всегда, не постоим.

Это мама рассказывала: из деревень, через милицейские кордоны, преграждавшие несчастным путь, доходили доползали до Киева селяне. Водяночные, опухшие или истощенные, в язвах, с умиравшими, а бывало и с мертвыми детьми на руках, часто с безумными глазами — в ту пору на Украине в голодающих селах широко распространился каннибализм — они лежали обессиленные, а иногда и мертвые вдоль дорог, просили милостыню, проклинали, плакали сухими глазами, без слез — както из жалости мама отдала сумку с продуктами вместе с зарплатой. Сестра тогда только родилась, несколько месяцев, а у крестьянки умирала такая же девочка.

Все молчали тогда, боялись. А профессор Блюмкин собирал для несчастных деньги. И писал. В политбюро писал и лично товарищу Сталину. Станный был человек. По лезвию бритвы ходил. Фаталист? Сумасшедший? А может, хорошо знал Кобу¹⁶ и догадывался, что спасения нет?

Странно очень, что Блюмкина долго не арестовывали, словно он был заговоренный. Даже подозревать начали, что провокатор, хотя едва ли. Просто рулетка: страшная сталинская рулетка. Беспощадная машина давала иногда парадоксальные сбои...

Както в компании, опятьтаки в подпитии и при дамочках, профессор, словно в кошки-мышки играя с судьбой, стал рассказывать, смеясь, что на политбюро во время дискуссии — это когда уклонистов били в двадцать восьмом году — Бухарин бросил Сталину: «мелкий восточный деспот». За фразу эту, может, Бухарин и заплатил жизнью¹⁷, любил покрасоваться Николай Иванович. «Вот тебе и МойшаАбеПинкус Довгалевский»¹⁸, — смеялся папа.

Да, все они любили покрасоваться, и Троцкий тоже, особенно на трибуне, считал себя неотразимым оратором, неприкасаемым. Но время настало уже другое: главный герой Гражданской войны, этот фанатик и нарцисс, расстреливавший, бывало, десятками, в противостоянии со Сталиным вел себя как обыкновенный вздорный мальчишка. Все кончилось тем, что бывшего в истерике Троцкого вынесли из дома на руках и отправили в АлмаАту¹⁹. Но это было только начало.

Бухаринский процесс в тот момент предположить было трудно, однако — тенденция налицо, и всю лилась кровь, так что самые проницательные догадывались, но профессор Блюмкин беззаботно смеялся и близоруко смаковал. А напрасно... Уже Зиновьева с Каменевым недавно казнили²⁰ и Киров был убит довольно странно²¹. Но, хотя Троцкий был покамест жив и мало кто ожидал Меркадера с ледорубом²², и все это правдой было про деспота, разве что «великий» или «величайший», а не «маленький» — громыхало сильно, неистово пахло небывалой грозой, и горели на небе огненные буквы... Вот оно, послесловие революции...

Да, горело и громыхало вокруг, но профессор Блюмкин, этот вечный теоретик, этот мальчик шестидесяти с лишком лет, вел себя подобно мотыльку.

«Мечтательные, близорукие мотыльки и стрекозы устраивали революцию, праздновали, танцевали и пели и не видели ничего вокруг, пока и революцию и их самих не сожрали могильные черви», — Леонид Вишневецкий помнил, что чтото в этом роде незадолго до смерти сказал папа. Отец тоже любил красиво говорить.

Григорий — настоящее, еврейское имя отца было Герш, однако он всегда назывался Григорием, порусски, — очень скоро понял, куда и к кому по неведению попал в аспирантуру.

Вернее, не попал, а вляпался. Безумный профессор, неисправимый краснобай, не только себя подставлял — всех. Любил вспоминать ссылку в Архангельскую губернию. Но это не ссылка была, не сталинский курорт, а царский рай — с дискуссионным клубом, по очереди в гостях у разных ссыльных, с интрижками, межфракционной борьбой, выпивками, охотой, ночными чтениями Маркса. Там иные из идейных превращались в обыкновенных скотов: пили, сквернословили, дрались с деревенскими, гадили друг другу, спали с местными бабами, делали им детей и сматывались за границу. Революция, которой они служили, все должна была списать, им все было можно...

Блюмкин, по словам папы, навсегда остался в том, полублагородномполубезумном, романтическом времени. Новое время, сталинское, кровавое, он не чувствовал, оно как бы протекало мимо него, то ли по природному его, неистребимому легкомыслию («швицер»²³ — посмертно квалифицировал его папа), то ли из-за рано наступившей, сродни маразму, зашоренности.

Всю оставшуюся жизнь отец очень гордился своей проницательностью. Лёня родится только через два года после войны, но отец в то давнее время уже женат был на однокурснице, и старшей сестре стукнуло четыре года, — он понял: надо бежать, спасать семью. Бросить аспирантуру и бежать. Както отец сообразил: он кожей чувствовал, ощущал приближение тридцать седьмого года. Атмосфера сгущалась не по дням. Воздух был пропитан страхом. Отец долго колебался: не донести ли? Иначе донесут другие, а его упекут за доношительство. Не он один, многие люди теряли головы. Судьба профессора Блюмкина казалась папе решена. Живой труп. Он хорохорился, но папа знал: старому дуралею предстоит сойти в ад. Даже если бы он молчал, слишком много за Яковом Моисеевичем накопилось. Прошлое... Но Блюмкин не мог сойти один. Всюду искали контрреволюционные организации. *Они* дьявольски любили громкие процессы. Повсеместно находились свои Вышинские²⁴, везде, до самых до окраин, подражали Москве.

Папа принял решение вовремя, успел оставить Киев, кафедру — это троцкистскозиновьевскобухаринское логово, как напишут в обвинении через год с лишним, — и почти законченную диссертацию с взрывоопасной темой об украинском крестьянстве, о классовой борьбе в деревне и о недавней коллективизации. От этой темы отцу было тошно: он не понаслышке знал, что на самом деле происходило в деревне. К тому же Блюмкин так и не изжил до конца пробухаринские позиции, и они торчали здесь и там в диссертации, несмотря на все старания Григория Клейнмана, грозя обернуться страшным скандалом.

Отец успел уехать в Ярославль как раз вовремя, чтобы начать все сначала. Этот безумный, казалось многим, шаг, непонятный, его и спас. Его и семью. Так что Лёня рождением своим в немалой степени обязан был случайности и проницательности отца. И даже дважды. Отец, как колобок, и от НКВД ушел, и от немцев.

В первые годы папа несколько раз наведывался в Киев. Он оставил за собой комнату в шикарной горкомовской квартире, где продолжали жить тетя Соня и дедушка. За пару лет в партийном доме сменились чуть ли не все жильцы. Дом оказался расстрельный, что-то вроде московского «Дома на набережной». Такие дома, особенные, вызывавшие острую зависть теснившейся вокруг бедноты, домаловушки, где обитали могущественные жильцы, объятые по ночам бессонницей и страхом, имелись чуть ли не в каждом большом городе огромной страны. И на кафедре всех арестовали. Все исчезли бесследно, никогда никого отец больше не встречал, даже когда ездил в Киев после смерти Сталина. Но большой процесс не получился — из-за Блюмкина. Быть может, поэтому папу и не стали разыскивать.

С профессором Блюмкиным вышла особенная история. Сын Якова Моисеевича работал заведующим отделением в психиатрической больнице. Вскоре после того, как Григорий Клейнман бросил аспирантуру и уехал, а точнее, можно сказать, сбежал или спасся, вырвался из зачумленного логова, с профессором Блюмкиным что-то произошло. Вроде бы после разговора в горкоме, куда его вызвали на проработку. Сначала говорили, что реактивный психоз. То ли

до него, наконец, дошло, и он перепугался — начал выбрасывать из окна вещи и вроде бы сам собирался выброситься, — то ли действительно что-то старческое, или сын решил его спрятать, позволить пересидеть — сын и положил его в больницу. Там профессор и застрял навсегда. В первые годы он жил в отдельной палате и писал грандиозную книгу, что-то по экономике и политике социализма, вроде бы вел заочную полемику с Троцким. Вот это и осталось навсегда загадкой: как профессор мог полемизировать с Троцким, если его книг, написанных в изгнании, никто в СССР, кроме Сталина, конечно, никогда не видел.

Никто не знал точно, болен ли на самом деле профессор, но диагноз служил ему охранной грамотой, и оттого Якова Моисеевича органы не трогали. На их непрерывном конвейере и без сумасшедших, даже мнимых, хотя бог весть, хватало работы. Жизнь, однако, полна парадоксов. Вместо старого профессора Блюмкина по делу о троцкистскозиновьевской организации в психбольнице арестовали его сына. Врачей и медсестер расстреляли, и профессор до конца жизни застрял, никто из новых сотрудников не решился его выпустить.

Погиб профессор в сорок первом: всех больных расстреляли фашисты. По иронии судьбы никто не вспомнил, что он еврей и старый большевик, один из выживших из ленинской гвардии. Расстреляли профессора Блюмкина в качестве обыкновенного сумасшедшего в Бабьем яру. Папа догадывался об этом, но наверняка узнал только через несколько лет после войны. Врач, переживший оккупацию, рассказал, что расстреляли всех и среди них Якова Моисеевича. После смерти сына он действительно был плох.

6

У дедушки Мендла с неизвестных времен сохранились две книги на древнееврейском языке. Книги были необычные, очень толстые, в кожаных переплетах с серебряными застежками, наверняка старинные и чрезвычайно дорогие, скорее всего Талмуд²⁵ или Тора²⁶, собрание псалмов и молитв, быть может «Шулхан арух»²⁷ или «Море невухим»²⁸ — через шесть десятков лет гадать можно было бесконечно, книги эти исчезли вскоре после дедушкиной смерти, по крайней мере Леонид их больше никогда не видел.

По утрам, когда родители уходили на работу, а сестра в институт и в тесной квартире становилось относительно просторно, дедушка нередко устраивался за папин стол, заваленный томами Ленина и Сталина, и приступал к чтению. Лёня любил наблюдать, как, читая, дедушка шепчет таинственные, совершенно непохожие на русские, слова и справа налево водит пальцем по строчкам с непонятными, напоминающими восточную вязь, древними буквами.

— О чем эта книжка, дедушка? — как-то не сдержал свое любопытство Лёнциню.

Дедушка, казалось, только и ждал вопроса. Он, видно, давно хотел посвятить внука в нечто исключительно важное, но не знал, как начать разговор.

— Эта книга про то, — стал он рассказывать, — как немцы убивали евреев. Книга страданий еврейского народа. Шесть миллионов евреев убили фашисты. Никогда, ни в какие века не было такого зверства. Придумали специальные душегубки, они их называли газовыми камерами. По всей Европе построили страшные лагеря для убийства. Людей сначала умерщвляли газом, а потом сжигали. Перед тем, как загонять в газовые камеры, женщин стригли наголо и волосами набивали подушки. Потом спали на этих подушках, продавали их в магазинах. Вырывали зубы, чтобы снять золотые коронки. Сдирали кожу и делали из нее абажуры. Врачи-зверь заражали разными болезнями, делали на людях смертельные эксперименты. Всех убивали: мужчин, женщин, стариков, таких, как ты, детей. Гитлер превратил немцев в беспощадных, кровожадных зверей.

— Евреи боролись? — спросил Лёнциню. — Воевали с немцами?

— Воевали, — сказал дедушка. — Очень многие были в армии, в партизанских отрядах. Твой папа тоже воевал. Вон у него сколько орденов.

Немцы сгоняли евреев в гетто. Евреи не раз восставали. В Варшавском гетто они сражались почти целый месяц. Евреям почти никто не помогал. У восставших было очень мало оружия, они сражались с пистолетами и палками против пулеметов и пушек. Но немцы не могли победить. Они сжигали дома вместе с защитниками. Все погибли в огне, вырваться смогли всего несколько человек, а находилось в Варшавском гетто почти полмиллиона людей. Это была вторая Масада. И в других местах евреи восставали: в Белостоке²⁹, в Собиборе³⁰, в других местах. Да разве мы знаем все? Об этом не говорят и не пишут, будто это военная тайна.

Среди неевреев встречались праведники, которые спасали евреев, иногда они сами погибали, но праведников было мало. Люди очень боялись, потому что немцы и полиция расстреливали тех, кто помогал евреям.

Запомни фамилию, Лёнцию — Януш Корчак. Он сам был еврей, директор детского дома. Ему предлагали спастись, но он отказался и вместе с воспитанниками пошел в концлагерь в газовую камеру. Он великий человек.

Вот поэтому после войны евреи создали свое государство — Израиль. Для этого им пришлось воевать за свою древнюю землю. Евреев было всего полмиллиона, а арабов, которые против них воевали — сразу несколько армий — во много раз больше, но евреи победили, вернули себе землю праотцов. Мы доказали всем, что умеем храбро сражаться.

Англичане не пускали евреев в Палестину, — продолжал дедушка, — но евреи на утлых кораблях, бывшие узники фашистских концлагерей, добирались до Земли Израиля. Для нас это Святая земля...

— А почему немцы убивали евреев? — перебил дедушку Лёничка. — За что?

— Это нельзя объяснить, — вздохнул дедушка. — Нельзя понять. Такое зло выше человеческого разума. В него невозможно даже поверить. Нельзя представить. Куда смотрел Бог? Есть много темных и злобных людей, но зло, которое они творят, всегда больше их самих. Еще в средние века про евреев придумывали кровавые наветы и устраивали погромы. Особенно крестonosцы. Изза того, что у нас свой Бог, и мы не признавали Христа.

— Но Бога нет, дедушка, — возразил Лёничка.

— Есть Бог, Лёнцию, — ласково сказал дедушка. — А может, и в самом деле нет, — вздохнул он. — Разве я могу знать? Есть много ученых людей, которые спорят изза Бога. И многие войны в истории были изза Бога. То христиане с мусульманами сражались изза Гроба Господня, то католики с протестантами, а больше всех страдали евреи. Поэтому евреи всегда стояли за мир.

Никогда больше Лёне не приходилось разговаривать с дедушкой о Боге. Дедушка Мендл молился почти каждый день, облачался в талес³¹ и тфилин³², шептал невнятной скороговоркой молитвы, но вот верил ли или молился по привычке? Так вышло, что Лёня с папой, мамой, с сестрой и с ее мужем переехали на Северный Кавказ, а дедушка с тетей Соней остались на прежнем месте изза квартиры. Вроде бы они тоже подумывали о переезде, но дедушка неожиданно заболел и умер, а потом тетя Соня вышла замуж и навсегда осталась в Ярославле.

Лишь много лет спустя разговор о дедушкиной вере, был ли он понастоящему верующим, состоялся у Лёни с мамой.

— Не то чтобы сильно верил, — стала вспоминать мама. — Наверное, в молодости действительно. Он рассказывал, что собирался поступать в иешиву³³, но потом передумал. А в зрелые годы — не знаю... Слишком много обрушилось на него. Дело свое он потерял, и дом пришлось отдать. Налоги стали непереносимые, и он сам написал заявление. А молился он на всякий случай... мало ли, Бог мог обидеться и навредить. Он часто вспоминал историю Иезавели и пророка Илии³⁴.

Дедушка был грамотный, он закончил ТалмудТору, много читал еврейские книги и русские иногда тоже, а когда бывал в Москве, всего два раза, обязательно ходил в еврейский театр.

Каждый год дедушка читал в синагоге поминальный кадиш³⁵ по бабушке, ходил к резнику, не ел свинину и хоть и не строго, но соблюдал субботу. Уважал традиции, но едва ли больше.

Тогда же мама назвала три причины, заставившие дедушку Мендла усомниться во Всевышнем. Первой причиной послужила бабушка Бейлэ. Она происходила из богатой семьи, но характер был у бабушки ангельский. Всегда улыбка на лице, никогда не перечила дедушке, умела сглаживать любые углы. Революцию она приняла смиренно; бедствовали, но она ни слова не проронила, ни слезинки, улыбкой остановила както петлюровский погром. Во время Гражданской войны влюбился в нее, было, горячий деникинский офицер, так она настолько деликатная была, что, не обидев, сумела установить дистанцию, и он только вздыхал. Этот офицер молоденький был, лет двадцати пяти, пылкий, но благородный, а бабушке уже за тридцать. Но она — настоящая дама. Бабушка очень образованная была, несколько лет училась в Швейцарии, знала немецкий, французский, итальянский, играла на пианино, пела... Он так влюбился, что через несколько лет после Гражданской войны, вызвав немалый переполох, пришло от него письмо. Из Сербии, кажется, или из Болгарии...

Так вот, умерла бабушка Бейлэ от рака в середине тридцатых. Еще пятидесяти ей не было. Соня совсем еще подросток, к тому же инвалид, плохо ходила после полиомиелита. Дедушка усердно молился, обращался за помощью к врачам и к цадику³⁶, платил большие деньги — в то время у него еще были золотые царские рубли, — цадик возносил свои молитвы прямо к Богу, но Всевышний промолчал, не захотел помочь. И дедушка очень сильно обиделся.

Про бабушку Бейлэ Лёня не знал почти ничего. Слышал только, что у нее было богатое приданное: мейссенский сервиз, столовое серебро и много шелковых платьев, бабушка носила их всю жизнь, но и когда умерла, платья продолжали висеть в шкафу — так вот, после смерти бабушки все платья изъела моль. И серебро, и сервиз и, догадывался Лёня, много чего еще — все со временем исчезло.

От прежних счастливых лет у дедушки сохранилась лишь фотография в рамке, он часто доставал ее из какого-то тайного ящика, словно вытаскивал из другой жизни, подолгу рассматривал, плакал иногда и любил показывать Лёнцину: на фото дедушка был в дорогих туфлях из Италии, в элегантном черном костюме, с золотыми карманными часами — часы попрежнему шли, не сбиваясь ни на секунду — и дедушка носил их на цепочке; бабушка же на той фотографии была в белом подвенечном платье с толстой золотой цепью и с диадемой в роскошных волосах. Только выглядели дедушка с бабушкой отчего-то не очень весело, а скорее растерянно, словно что-то могли предчувствовать в самом начале века.

И еще, совсем уже секретное — это Лёня узнал только через год с лишним после смерти папы, а умер папа вскоре после того, как советские танки, давя студентов, с лязгом проехали по улицам Праги, унося последние папины надежды на обновленный, европейский социализм — бабушкины братья и сестры, а их было четверо, три брата и сестра, все уехали в Палестину и в Америку и все преуспели за границей. Бабушкин младший брат стал даже влиятельным человеком в Гистадруте³⁷ и оказался одним из тех, кто в тысяча девятьсот сорок восьмом году, через две тысячи лет, провозгласил Государство.

Вторая причина дедушкиных сомнений, а может и неверия, состояла в том, что Всевышний и Единственный стал на сторону Амана³⁸, захотевшего уничтожить еврейский народ, сделать из евреев гоев. Аман, язычник, чьи приукрашенные усатые портреты висели повсюду, сотворенный кумир, Шабтай³⁹ двадцатого века, велел разрушать церкви, сбрасывать с них кресты, срывать иконы, превращать в конюшни и склады и тысячами отправлять священников в лагеря. Но если Аман так издевался над своими православными, над большим народом, то малый народ он и вовсе не щадил. Синагоги закрывали, раввинов расстреливали и высылали, вместе с православными священниками и с униатскими медленной смертью казнили на Соловках; дальнего дедушкиного родственника раввина Медалье⁴⁰ обвинили в том, что он немецкий

шпион и расстреляли на полигоне Коммунарка. Лишь редко где тайно собирались старики в подпольных молельных домах.

Тысячи лет, пока еврейский народ хранил верность Единому Богу, Единый Бог хранил свой народ. Даровал народу Веру и Книгу. Даже в диаспоре Вера и Книга сохраняли язык. Но вот Время и Аман посягнули на главное: на духовность и язык, на самый стержень народа. И народ заболел.

Народ — это не просто очень много людей, не просто механическое объединение, это очень тонкий организм, очень чувствительный, народы болеют и даже умирают, как люди. Болезнь началась давно, с Гаскалы⁴¹, с Великой французской революции, даровавшей евреям права. До того в средние века еврейский народ охраняли статуты, среди которых особенно значимым был Калишский⁴², и гетто, — воздух свободы оказался разрушительным.

Две тысячи лет в изгнании, в диаспоре еврейский народ продолжал жить, принося неисчислимы жертвы — он жил благодаря изоляции и несмотря на угнетение во имя великой мечты: народ ожидал Мессию, чтобы вернуться в землю обетованную. Теперь же, лишенный духовного стержня: веры, Бога, раввинов, своей культуры, языка, вырвавшись из тесноты и нищеты украинских и белорусских местечек, народ должен был раствориться среди гоев. А это значило, что тысячелетние жертвы оказались напрасны. Что в божественном замысле содержалась роковая ошибка. Что Бог изменил самому себе. Или решил подвергнуть свой народ новому, еще более чудовищному испытанию.

Дедушка видел: русское еврейство исчезало. Наполовину уничтоженное Гитлером, оно лишилось воли к сопротивлению и почти добровольно отдало душу Аману. Умирал язык, умирала культура, умирала еврейская ученость; еще несколько десятков лет — и конец многотысячелетней истории; это будут уже не евреи. Еще не русские, но уже не евреи. Изгои или зомби, попавшие в расселину истории. Увы, каток истории равняет очень медленно и трудно.

Но Бог молчал. Либо его не было, Бога, либо он нарушил договор. Или был бессилен. Даже возникновение Израиля, которому так радовались евреи во всем мире, и дедушка тоже, не убедило его в величии божественного замысла и не разрушило дедушкин пессимизм. А где же Мессия⁴³? Дедушка не принадлежал к Нетурей карто⁴⁴, но отсутствие Машиаха в великий момент возрождения Израиля немало влияло на дедушкины сомнения в существовании Бога.

Но, пожалуй, больше всего усомнился дедушка в существовании того, чье имя нельзя было произносить, во время и после войны, когда узнал о миллионах погибших и изувеченных и о подлинных масштабах Холокоста. Масштабы тщательно скрывали; не только масштабы, но и сам Холокост — в этом было что-то маниакальное, шизофреническое, ведь состоялся же Нюрнбергский процесс, все стало известно, но даже слова такого не было: «Холокост», мало кто слышал в то время про Бабий яр⁴⁵, про Дробицкий яр⁴⁶ или Змиевскую балку⁴⁷. Узнавали дедушка и папа постепенно, часто случайно, деталь за деталью, даже о мертвых не положено было говорить. То есть вроде бы массовые убийства евреев нацистами не были тайной, но все равно молчали. Скрывали. Запретили издавать «Черную книгу»⁴⁸, даже набор рассыпали. Железный занавес опутывал всю страну. И не только снаружи, но и внутри.

Непонятно было: где все это время был Бог? Как Он мог взирать безразлично? И на массовые убийства, и на последующее молчание? А если кара, то за что такая жестокая кара? Да имеет ли право Бог? Дедушка как-то сказал, что Аман победил Бога. Он продолжал молиться — по инерции, по привычке, молился и за тех, кто не мог молиться сам. Но настоящей веры у него, пожалуй, не было.

— А папа верил? — спросил Лёня.

— В Бога? — удивилась мама.

— Нет, не в Бога. В это все. В Амана.

— Нет. Папа давно не верил. Папа был умным человеком и очень хорошо все понимал. Смеялся надо мной, что я верю. Хотя я тоже, но я немного все-таки верила. Я и сейчас верю, немного. А папа говорил, что социализм должен быть совсем другой. Не сталинский. Что никто не знает пока, какой точно должен быть социализм. Что человечество только стоит у порога. Что со времени пророков оно ни на шаг не приблизилось к цели. Ты ведь знаешь, папа написал книгу.

— Знаю, — Лёня пожал плечами. — Эта книга была совсем не то...

7

До шести с половиной лет, когда Лёня пошел в школу, все звали его по папиной фамилии: Клейнман. Но оказалось, Вишневецкий, по маме. Хотя у старшей сестры фамилия была папина.

— Клейнман — некрасивая фамилия, — объяснила тетя Соня. — В переводе с немецкого: маленький человек. Разве ты хочешь быть маленьким человеком?

— Я хочу быть Клейнманом, как папа. И как дедушка.

— Ты подумай: Вишневецкий — очень красивая фамилия. Все будут тебе завидовать.

О да, Вишневецкий! Фамилия буйных литовскоукраинскопольских князей, Гедиминовичей⁴⁹ и Ольгердовичей⁵⁰, Корибутов⁵¹, крупнейших магнатов, властителей Волыни, победителей крымских татар, основателей Запорожской сечи, маршалов, наместников, старост, каштелянов и воевод, зачинателей русской смуты, покровителей Отрепьева, организаторов походов на Москву, первейших вельмож, подписавших польсколитовскую Унию, гетманов польских и литовских, принцев Священной Римской империи, сказочно богатых феодалов, владевших сотнями тысяч крестьян, войсками, замками, городами и местечками, православных и католиков, писателей, музыкантов, поэтов! Это их красавецзамок располагался в Вишневеце — от него и пошла фамилия прежних литовских смутьяноваристократов, мудрым Витовтом, героем Грюнвальда, отправленных на Волынь. Это про князя Вишневецкого Байду сотни лет слагали песни сечевые казаки. Сам Иван Грозный пожаловал герою город Белев. И это князь Иеремия-Михаил, староста Перемышльский и Каневский, богатейший магнат и знаменитый полководец, отец будущего польского короля, разбил под Берестечком Хмельницкого, лютого врага еврейства⁵². И, наконец, сам король Михаил⁵³, последний из Вишневецких. Увы, корольнеудачник, жертва придворных и международных интриг, в чье короткое правление был подписан позорный для Польши Бучачский мир. Король, о котором почти сразу забыли. Ненастоящий и недолгий властелин, чью память вскоре затмили блистательные победы Яна Собеского⁵⁴.

От знаменитых князей пошла и еврейская фамилия. Мамины предки, очевидно, жили на землях Вишневецких, то ли в окрестностях замка Вишневец, то ли в городе, принадлежавшем князьям. Семейное предание гласило, что некий предок по имени Ицхок служил управляющим в одном из имений князей. И будто дочка этого Ицхока, Мирьям, красавица, вышла замуж за знатного польского шляхтича и, несмотря на сопротивление родителей, стала в крещении Марией — гордые шляхтичи не так уж и редко женились на еврейской красоте и деньгах.

Больше уже в новое время узнавал про свою фамилию Леонид Вишневецкий, раскапывал корни, даже заказал родословную. Чтото особенное чудилось ему: вишневый сад в цвету, весна, воды вешние, таинственные знаки каббалы, цадики, небесная музыка, необычайный замок на горе, приют беспечных⁵⁵. Почти так и вышло: все больше встречались арендаторы⁵⁶, раввины и канторы⁵⁷.

8

Пролетарское происхождение, столь ценимое в советское время, с трудом отыскивалось со стороны бабушки по маме, Стрижевской. Происходила она из небогатой семьи, отец ее был ремесленникжестянщик — оттого и выдали бабушку за молеха⁵⁸ из раввинской семьи. Старшие братья молеха, раввины и талмудисты, уехали в самом начале века в Америку, и только младший, неудачник, застрял в своем убогом местечке. Он учился старательно, быть может, даже чересчур, ночи напролет зубрил талмуд и тору, но нудная талмудическая ученость вытекала из него, как вода из дырявого ведра, что-то было в нем не от мира сего, наивная улыбка порой часами блуждала на бледном его, с длинными рыжеватыми пейсами лице, моментами он погружался в глубокую, почти сомнамбулическую задумчивость, в неясные, смутные мечты, бывало, говорил и отвечал невпопад, терял нить беседы или начинал шептать стихи. Он и писал их — на идише и на иврите, стихи даже печатали в какомто еврейском журнале, но, со слов бабушки, стихи были странные, труднопонятные или, бывало, начинал рисовать или петь, словно дибук⁵⁹ сидел у него в голове. Все считали его странным, так что раввином он не мог стать и так и остался меламедом⁶⁰ в хедере⁶¹.

В империалистическую войну, когда не приспособленный к жизни дедушка оказался на фронте и даже убил несколько австрийцев, а потом рыдал над телами врагов, потому что никого не хотел убивать, но, убив против своей воли, нарушил заповедь Божью, бабушка, чтобы выжить и прокормить семью, занялась торговлей. Вероятно, у нее оказался особый талант: дело росло, семья богатела, кроме продуктов, бабушка начала торговать всякой всячиной и кто знает, чего бы она добилась, но тут грянула революция, а за ней и Гражданская война. У бабушки все отобрали, магазин ее поочередно грабили петлюровцы и буденновцы, дело пришлось закрыть. И дедушка: вернувшись с фронта, он вскоре оказался без работы. Религиозные школы закрыли, меламед стал никому не нужен.

Но все как на американских горках: после бедствий военного коммунизма наступил НЭП. Во время НЭПа бабушка снова сумела подняться — отложила золотые червонцы и даже разбогатела настолько, что, когда НЭП отменили и стали высылать буржуев, бабушка Сура с дедушкой Авраамом попали в черные списки. К счастью, у бабушки оказался поклонник в органах, ее очень давний воздыхатель Моше, революционербольшевик, бывший бундовец⁶² — когда-то бабушкины родители его отвергли, но он сохранил теплые чувства — благодаря Моше успели вовремя собраться и уехать. Так вышло, что семья с Житомирщины перебралась в еврейский колхоз в Крым. Но и в Крыму побыли недолго...

9

За то недолгое время, что Леонид Вишневецкий жил в Израиле, он успел побывать на экскурсии в Дгании⁶³, матери израильских кибуцев, в этой, как говорил гид, «больше, чем легенде»: кузнице израильской аристократии и национального духа, и у кибуцников⁶⁴ и мошавников⁶⁵ в Изреельской долине — там даже снимали несколько комнат на целое лето для внуков. Среди не так давно осушенных болот, столетиями бывших рассадниками малярии, среди каменистой, мало пригодной для обработки земли, безводья, вечного бича этих мест, подаренных некогда Господом Аврааму, Леонид не густые поля пшеницы видел, не апельсиновые и гранатовые рощи и пальмы, не вычищенных до блеска голландских коров, любителей Баха и Вивальди, не тучные стада, — стирая наворачивавшиеся слезы с глаз, он лицезрел перед собой пионеров, новых евреев. Не бывших бедняков из черты оседлости⁶⁶, не мелких торговцев и сутулых ремесленников, не вечных ешиботников⁶⁷ в ермолках, с длинными пейсами, годами зубривших Талмуд и средневековые сочинения РАШИ⁶⁸, дрожавших при слове

«погром», но — хозяев обильной, обетованной земли, сначала выкупивших, а затем отвоевавших ее у арабов, превративших пустыни и болота в сады.

Иной раз для олим⁶⁹ устраивали встречи с ветеранами. То были не обыкновенные древние старики. По возрасту ровесники британского мандата⁷⁰, годившиеся в отцы, а то и в дедушки государству⁷¹, иные из них прибыли в страну дважды. В первый раз на «Эксодаусе»⁷², но были депортированы в тюремный лагерь в Гамбурге. Старики, так мало похожие на героев, с выдубленными солнцем и хамсином⁷³ лицами, уроженцы Пинска, Бобруйска и Умани — это были люди, которым выпало дважды свершить историю. В первый раз, когда, не дождавшись Мессии, они возродили две тысячи лет существовавшую лишь в мечтах страну и оживили древний, погруженный в летаргический сон язык Книги, молитв и ученых талмудистов. И во второй раз, когда исполнили заветы древних пророков: построили социализм, хотя он и стал уделом лишь немногих энтузиастов. Но они доказали: социализм — это вовсе не детище марксистской материалистической утопии. Совсем напротив: только идеализм порождает настоящий социализм. Их не загоняли в кибуцы, как в России в колхозы, они шли сами, как на великий праздник, чтобы соединить еврейский труд и еврейскую землю.

Могло ли быть нечто подобное в степной полосе Крыма, среди солончаков и сухой, покрытой колючками и норами грызунов, никогда не паханной раньше земли? Увы, у истории нет сослагательного наклонения.

В давней молодости, впервые услышав от мамы о еврейских колхозах, Лёня долго смеялся: те евреи, которых он знал — профессора, институтские преподаватели, учителя, врачи, инженеры, дантисты, торговые работники, гешефтвахеры⁷⁴ — очень уж были непохожи на обыкновенных советских колхозников. Видно, на Земле Обетованной и в Северном Крыму жили совсем другие евреи.

Однако, вопреки скепсису и недоверию Лёни, еврейское земледелие в России существовало: и при царях, и при Советской власти.

У Советской власти имелись свои немаловажные резоны: кудато нужно было пристроить безработную местечковую бедноту, приобщить к труду евреев-лишущих⁷⁵, возможно, особую роль сыграла американская помощь. То было время, когда «Джойнт»⁷⁶ и «АгроДжойнт»⁷⁷ были в Советском Союзе желанными гостями. К тому же и идеология: если евреи считают себя нацией, их следовало привести к марксистской формулировке Сталина⁷⁸. Никак не наоборот. Не формулировку к евреям. Вероятно, присутствовала тут и революционная романтика: создать трудовое колхозное еврейское крестьянство, людей, почти две тысячи лет оторванных от земли, заставить возделывать хлеб.

С первой половины двадцатых годов провозглашена была политика еврейского территориализма, созданы КОМЗЕТ⁷⁹ и ОЗЕТ⁸⁰, на Украине, в Крыму, в Белоруссии создавались еврейские сельсоветы и национальные районы, в колхозы и совхозы переселялись десятки тысяч бывших ремесленников и мелочных торговцев — вот тогда и заговорили про еврейскую автономию в Крыму. Разговоры эти, не очень, впрочем, определенные, происходили не только в евсекции⁸¹, но и на самом верху. Однако с начала тридцатых годов политика национального территориализма была постепенно свернута, на место национальных районов и степного, безводного Крыма вышел новый прожект «Красного Сиона»⁸² на самом краю земли, еврейские сельсоветы стали быстро хиреть из-за оттока работников, а с остатками еврейских национальных образований покончила война.

Однако, хотя реальная история еврейских поселений в Крыму закончилась, интрига — кремлевская, энкавэдэшная — напротив, стала закручиваться. Лёне лет одиннадцать было, хрущевское время, когда папа рассказывал заглянувшему в гости профессору Эпштейну, соседу — что-то про Жемчужину⁸³, Молотова, про какое-то письмо Сталину⁸⁴ и переговоры

в Америке⁸⁵. К тому времени Берию расстреляли⁸⁶, а Молотова отправили на пенсию⁸⁷, уже можно было об этом говорить, но Лёня не очень понял: то ли в самом деле собирались создавать еврейскую республику в Крыму, но Сталин после войны передумал, то ли с самого начала это был блеф, коварная ловушка для Молотова и членов антифашистского комитета.

Лишь годы спустя, в новое уже время, другое, когда кровавые тайны стали вытряхивать из молчаливых и темных кремлевских архивов, Леонид прочитал у Костырченко⁸⁸ и Жореса Медведева⁸⁹ и про ЕАК, и про Крым, но, пожалуй, больше всего про *их нравы*, про кремлевских пауков. Там в самом воздухе словно были разлиты вечная византийская спесь и вечное византийское коварство.

К удивлению Лёни, когда он стал расспрашивать, ожидая услышать про потемкинские деревни, мама нарисовала картину немалого энтузиазма. Из далекой Америки прибывали машины и механизмы, еврейские юноши на зависть местным садились за штурвалы тракторов и комбайнов, породистых коров закупают в Голландии и Германии, голодная, изъеденная солончаками степь жестоко сопротивлялась, но медленно отступала, на месте малярийных болот начинала колоситься пшеница — американские деньги и еврейский труд побеждали пусть и медленно, но неотступно. Сама мама, правда, в колхозе никогда не работала — она в это время училась в институте, зато мамини старшие сестры трудились бухгалтером и счетоводом. Семья Вишневецких вообще находилась на особом положении: бабушкин двоюродный брат дядя Пиня работал в «АгроДжойнте», а значит, был очень влиятельным человеком.

Там много чего успели сделать: выстроили маслозавод, возвели из камня коровники, начали строить добротные дома, но постепенно все пошло прахом. Работа на неудобьях, призналась мама, была тяжелая, да и жили бедно, так что через некоторое время энтузиазм стал угасать, особенно когда начались ликвидации национальных районов. Многие семьи уезжали и раньше, не выдерживали, теперь же отъезд евреев стал массовым. Уехали вскоре и Вишневецкие — от греха подальше, изза того, что дядю Пиню арестовали и объявили американским шпионом, а через несколько месяцев расстреляли.

Крымский проект — от взлета до падения — не просуществовал и полутора десятков лет. Закончилось же все очень печально: судами и расстрелами сотрудников «Джойнта».

После войны о еврейских колхозах больше не вспоминали.

10

Много лет спустя, когда Леонид Вишневецкий вспоминал раннее детство, ему казалось, что одним из первых услышанных им слов была фамилия Михоэлс⁹⁰, хотя, очевидно, быть этого никак не могло. В январе сорок восьмого, когда Соломона Михоэлса убили в Минске, инсценировав наезд грузовика на улочке бывшего гетто, Лёнцию не было и года. Скорее всего, про это убийство, знаковое, символическое, чуть ли не ритуальное — Лёня точно помнил, что от отца — он слышал значительно позже. И даже, скорее всего, вовсе не ему папа рассказывал...

...Но вот что Лёня запомнил совершенно точно, на всю жизнь, так это папу, когда тот возвращался с работы. Вид у папы был очень усталый и взгляд потухший, виноватый, словно он в чем-то провинился и просил прощения у Лёнечки.

Лёнечке года четыре было или пять... В то время папа особенно был нежен с сыном, подолгу гулял вечерами и даже согласился соорудить парусный корабль, хотя строить корабли папа совершенно не умел и при первом же спуске на воду плоскодонное странноватое чудо перевернулось в корыте.

Лёнечке казалось, что папа хотел запомнить это время и чтобы Лёнцию тоже запомнил, навсегда, словно что-то могло случиться, будто папа ждал беды. Боялся, что эта жизнь, пре-

красная, казалось Лёнечке, хотя — куда уже, нелегкая была жизнь, с очередями, нищенская, в постоянном страхе, но это — у других, а Лёнечке казалось: прекрасная, — так вот, папа словно боялся, что эта жизнь может в любой миг оборваться. Бывало, на глаза у папы наворачивались слезы или он о чемто очень сильно задумывался. Так сильно, что на мгновение забывал о Лёнечке, и думал о чемто совсем другом, своем, печальном.

Папы давно не было в живых, когда Леонид Вишневецкий пришел к выводу, что это было время «дела врачей» или казни членов Еврейского Антифашистского комитета. Как раз примерно в те же дни сослуживец сказал маме: «Я вместе с вами в Джойнте не работал», а дедушка по многу раз за день восклицал: «Не может быть, чтобы Перец Маркиш»⁹¹ или «Не может быть, чтобы Лев Квитко»⁹². Но чаще всего дедушка восклицал: «Не может быть, чтобы Лина Штерн»⁹³. Про Лину Штерн, первую женщину академика, в то время ходили легенды, будто она работала над проблемой бессмертия и будто сам Отец народов ее пощадил, то есть ее не расстреляли, как других⁹⁴, а дали всего три с половиной года и еще пять лет ссылки, — потому что вождь надеялся, что она разработает препараты, которые продлят ему жизнь. Хотя, скорее, тут другое — Лину Штерн, многие годы проработавшую в Швейцарии, очень хорошо знали за границей.

Книгу Лины Штерн о гематоэнцефалических барьерах Леонид штудировал много лет спустя на последнем курсе мединститута, тогда и вспомнил ее фамилию, а вот в те дни — папа велел тете Соне сжечь журнал, в котором была ее фотография. Дедушка пытался спорить, но папа рассвирепел: «Это тебе не при царе...» Что папа кричал дальше, Лёнечка не понял: папа перешел на идиш.

Зато он запомнил, как в конце пятидесят пятого, после реабилитации казненных членов руководства ЕАК, хотя реабилитация была скрытная, почти тайная — Лёне тогда почти исполнилось девять — сестра декламировала стихотворение Перца Маркиша «Танцовщица из гетто».

Шум свадеб во дворах, вино, цветы
И плач торжеств, и кружева, и банты.
Разбиты, правда, скрипки и альты,
Зарезаны певцы и музыканты.

Но ты пляши — пять, десять дней подряд!
И сердце спрячь, и боль впитай, как губка,
И, совершая свадебный обряд,
По горлу полосни себе, голубка!

Закинута печально голова,
В глазах раскрытых — звезды и смятенье.
Так, увязав смолистые дрова
Шли матери на жертвоприношение.

Но ты танцуй и жги слезой зрачки,
Пляши и мни трепещущие банты...
Разбиты, правда, скрипки и смычки,
Зарезаны певцы и музыканты!

* * *

Орлиный клёкот слышался вдали
Громада громоздилась на громаду, —
Меня тропинки за руки вели
К могучему Агуруводопаду.

С вершины низвергается вода,
Над пропастью вздымаются чертоги...
Приди, моя бездомная, сюда,
Седой поток тебе омоет ноги

Чья скрыта гибель здесь, чье торжество?
Какие бури здесь служили требу?
Вода и камень — больше ничего, —
Да лестница из черной бездны к небу.

На языке усталых ног своих,
Поведай водопаду на рассвете,
Как ты в оковах из низин гнилых
К вершинам рвешься два тысячелетия.

* * *

Рассказывай, душа моя, пляши,
Перед тобою сонные громады
Одни вершины — больше ни души,
Ни братьев, ни сестер — совсем одна ты.

Скитаются — ни кликнуть, ни позвать,
Кочует в море утлая лодчонка.
Ребенок потерял в дороге мать,
И мать не может отыскать ребенка.

За солнечные гимны — жгли уста.
За взгляд на звезды — очи выжигали...
Услышит ли далекая звезда
Сквозь тучи песню горя и печали?

Вершины спят, но ты их сна лиши,
Пускай их потрясут твои утраты!
Рассказывай, душа моя, пляши, —
Ни братьев, ни сестер — совсем одна ты.

* * *

Отдай им все. Нам незачем копить.
Исхода нет. Отдайся им на милость.
За дерзкую мечту свободной быть!
Ты до конца еще не расплатилась!

Привыкла с малых лет недоедать,
Долги росли и гнали на работу,
А ты хотела мыслить и мечтать,
И быть отважной, — так плати по счету.

Разграблены и золото, и медь,
За колыбелью — братская могила,
Горит костер — и ты должна сгореть
За то, что и людей, и мир любила.

Сумей же стыд от тела отделить
И тело от костей — судьба свершилась!
За дерзкую мечту свободной быть
Ты до конца еще не расплатилась!⁹⁵

Тогда же, запомнил Лёнечка, папа извлек из книжного шкафа одолженную у кого-то из знакомых книжку Ицика Фефера — книжка эта все еще была под запретом — и читали: дедушка на идише, а папа на русском, стихотворение «Я — еврей».

Вино, выдерживавшееся многими поколениями
меня укрепило в моих странствиях.
Злой меч мук и скорби
не в состоянии уничтожить моего достоинства —
моего народа, моей веры и моего цветения.
Но он ковал мою судьбу.
Под мечом я кричал:
я — еврей!

Ни казни фараона, ни Тит, ни Аман
не сумели сломить его —
моего гордого духа. Несет мое имя
вечность на своих руках.
Мой порыв не убавился
на черных кострах Мадрида;
Гремит моя слава сквозь времена и годы:
я — еврей!

Когда египтянин замуровал
мое тело в стену, мне было больно.
И я засеял слезами сырую землю,
и взошло солнце.
Под солнцем протянулась дорога, осыпанная кущами,
они кололи мне глаза:
я — еврей!

Сорок лет древней жизни,
которые я претворял в песке пустыни,
придали мне первозданного мужества.
Клич БарКохбы меня зажигал

на каждом витке моих страданий,
и бережнее золота я хранил
упрямство моего деда:
я — еврей!

Наполненная умом морщина рабби Акивы,
мудрость слов Йешаягу
возбудили мою жажду — мою любовь
и сдобрили ее ненавистью.
Порыв героев Маккавеев
в бунтарской крови моей кипит,
изо всех костров я возглашал:
я — еврей!

Чудотворный ум нашего царя Соломона
в странствиях меня не покидал,
и кривая улыбка Генриха Гейне
стоила мне порядочно крови.
Я слушаю звуки Йегуды Галеви
веками — и не устаю.
Я часто увядал, но не умирал:
я — еврей!

Шум базаров амстердамских
моему Спинозе не помешал
в одиночку раздвинуть тесные ремни.
Солнце Маркса, взошедшее над землей,
освежило новой красотой
мою древнюю кровь, мой дух
и мой негасимый огонь:
я — еврей!

В моих глазах наличествуют
сияние, тишь и натиск
заката Исаака Левитана,
благословенной походки Менделе МойхерСфорима,
остроты русских штыков,
солнечного блеска ржи в пору жатвы.
Я — сын Советов,
я — еврей!

Эхо Хайфской гавани
отзывается на мой голос,
невидимые телеграфы
доносят до меня сквозь море и долину
биение сердца в БуэносАйресе
и из НьюЙорка еврейскую песню,
ужас берлинских антиеврейских законов:
я — еврей!

Я — еврей, который пил
из сталинской чудесной чаши счастья.
Тому, кто хочет Москву утопить,
повернуть землю вспять,
Скажу я: «Нет». Тому скажу я: «Долой»
Я иду с восточными народами вместе,
русские — мои братья,
А я — еврей!

Моя слава — это корабль на обоих течениях,
мою кровь освещает вечность,
моя гордость — имя Якова Свердлова
и Кагановича — друга Сталина.
Моя юность несется по снегам,
сердце полно динамита,
мое счастье реет в траншеях:
я — еврей!

И назло врагам,
которые готовят уже могилы для меня
я под красными знаменами
еще получу удовольствие безмерное.
Я свои виноградники посажу
и своей судьбы буду кузнецом,
Я еще на могиле Гитлера потанцую!
Я — еврей!⁹⁶

Много раз потом Леонид читал эти стихи. Наверное, в переводе они звучали намного хуже оригинала. Хотя трагическое величие и на русском било через край, и Леониду всегда хотелось плакать... Разве что окончание у Фефера подкачало — коммунист... Но и это была необыкновенная пафосная ложь — трагическая... Как плен египетский...

В тот день папа говорил, что Фефер — очень хороший поэт, умный, но вот ведь, что Советская власть с ним сделала — был агентом НКВД и на процессе вначале держался как свидетель обвинения, помогал *и* м, надеялся, верил в снисхождение, играл в *и* х игру, а может, пощаду вымаливал, пока не понял, что пощады не будет. Но его все равно расстреляли. Очень много кого они убили: Бабеля, Пильняка, Мандельштама, Гумилева, Эфрона... Русских, евреев... не счесть... Но идиш — под корень ...

— Как Антиох Эпиман⁹⁷, — сказал дедушка.

Лёничка был слишком мал и оттого он плохо понимал, о чем шепчутся взрослые, к тому же в самых интересных местах они переходили на идиш, но память у него была цепкая, коечто он запомнил, а многое узнал или домыслил потом. В те страшные дни — это он позже узнал, что страшные — Сталина тайно сравнивали с Гитлером и по секрету шептались о депортации. Говорили о письме в ЦК⁹⁸, об отдельном письме Эренбурга⁹⁹, об арестах офицеровевреев, что будто бы в Биробиджане строят бараки, и даже о приказе по МПС¹⁰⁰.

Странно, но папу в то время не трогали. Напротив, внешне были благосклонны. Хотя, несомненно, шептались... Даже соседи... Домработница Маруся рассказывала, что смотрят както странно... Однако благосклонность с особенным изуверством...

...Истерия началась сразу после информационного сообщения ТАСС¹⁰¹.

Это была вполне управляемая истерия, как при всех больших процессах: советские люди единодушно требовали казнить убийц в белых халатах. Митинги волной катились по стране — на заводах, фабриках, в учреждениях, везде. О митингах целыми днями передавали по радио, захлебываясь, все больше повышая градус, писали газеты. Собственно, истерия продолжалась все последние годы, одни «безродные космополиты»¹⁰² чего стоили, но тут градус антисемитизма переключили на «горячо», больше не скрываясь за эвфемизмами.

Митинги не были стихийными, на каждом обязательно присутствовали секретари или хотя бы инструкторы из обкома или горкома, или, на худой конец, из райкома — партийное начальство сбивалось с ног. Но вот что странно или, наоборот, не странно — люди искренно верили всему, огромное большинство людей. Еще недавно они скандировали: «Смерть Троцкому», потом: «Смерть Зиновьеву и Каменеву», позже: «Смерть Бухарину». «Смерть, смерть» — это повторялось многократно, чуть ли не четверть века, и люди верили, что кругом враги, паранойя давно и прочно охватила страну. О, Леонид давно понял, что паранойя, как и фашизм, и нацизм, и коммунизм — вещь заразная. Собственно, паранойя — это не болезнь, это — симптом, проявление более серьезной болезни. На сей раз происходил очередной рецидив, теперь гнев обращен был против евреев. Фамилий почти не помнили, знали только, что врачи — евреи, сионисты. Троцкий, Каменев, Зиновьев, поэтынационалисты из ЕАК, жена Молотова, теперь врачевотравители — все враги, все евреи. По эту сторону — пока — оставались лишь Каганович¹⁰³ и только что умерший Мехлис¹⁰⁴.

Как заведующий кафедрой марксизма, папа был членом горкома и в этом качестве обязан был присутствовать на митингах и время от времени выступать. Что выступает Клейнман — в этом была особая ирония, особый «цимус»¹⁰⁵, как говорил дедушка, специфический «голубовский» прикол. Люди шептались, но слушали. А папе приходилось маневрировать, говорить, что есть еврейская буржуазия, националисты, двурушники, пошедшие в услужение к толстосумам, а есть еврейский пролетариат, который вместе с русским пролетариатом беззаветно стоит на страже социализма. И что не нужно огульно... Что нужно называть врагов пофамильно... Что у врагов нет национальности... Все вроде бы правильно папа говорил, помарксистски, но слова его звучали диссонансом, он зарабатывал штрафные очки...

Особенно противно было папе выступать оттого, что к этому времени он все знал и понимал: и что врачи не враги, и что членов Антифашистского комитета расстреляли ни за что, скорее всего, изза мелкого раздражения Сталина, и что все политические процессы инспирированы. И что все, что происходит — паранойя. Что человек с безграничной властью, узурпатор, стоящий во главе великой страны, давно и серьезно болен. От природы безмерно жесток и к тому же страдает паранойей; что жестокость и злоба Сталина — от темного страха, а страх тем больше, чем больше людей по его приказу убито, и что паранойя — болезнь очень многих диктаторов... Иродова болезнь... И что на евреях Сталин хочет отыграться, потому что его переиграл Бен-Гурион¹⁰⁶, или изза того, что евреи слишком бурно приветствовали Голду Меир¹⁰⁷. И что дело врачей затеяно было Берией, использовавшим темные страхи Сталина, хотя Берия вовсе не антисемит, зато великий интриган — этому страшному человеку просто нужно было убрать Абакумова¹⁰⁸ и, быть может, еще важнее, отвести от мингрельского дела¹⁰⁹, то есть спасти себя за счет евреев.

И еще папа знал, хотя, быть может, до чего-то докопался позднее, — связи у него были обширные, даже в ЦК, а главное, очень глубоко он умел анализировать, — что в Кремле сподвижники грызутся вокруг трона тяжело больного Сталина, перенесшего два инсульта, а Сталин на самом деле боится врачей — возможно, со времени суда над Плетневым и Левиным¹¹⁰,

и что у Сталина действительно есть основания бояться: он сам убил Фрунзе с помощью докторов¹¹¹.

Папа, конечно, не хотел выступать, не хотел участвовать в этой грязной кампании, но приходилось — изза Голубова.

Голубов, красный иезуит, как называл его папа, мало похожий на бывшего пролетария, скорее на старорежимного интеллигента из недоучившихся студентов, старавшийся всегда держаться в тени, возможно, изза того, что был из Ленинграда, однако вовремя улизнул¹¹². Голубов долгое время работал в аппарате у Жданова¹¹³ и оттого считал себя крупным специалистом в вопросах идеологии, любил выступать на закрытых совещаниях и писать статьи, однако не слишком грамотный — папа не раз убеждался, что этот теоретик почти совсем не читал Маркса, да и Ленина знал плохо, и что знакомство Голубова с марксизмом ограничивалось в основном Кратким курсом и текущими статьями в газетах. Вскоре после смерти Сталина Голубов стал первым секретарем и захотел, чтобы папа написал за него диссертацию. Но это — потом, папа и сбежал из Ярославля изза Голубова, его тяготила эта странная новоявленная дружба, а в те дни перед смертью Сталина именно Голубов принудил папу ездить на митинги и выступать. Мол, должен каяться за все еврейство...

Так и выходило: папа стоял на трибуне, не один, но словно пустота по сторонам, словно его казнили, не врачей, а внизу бушевало море. Зал гудел, исступленные крики долетали до трибуны. Все пространство будто плавилось от ненависти. «Мне стало не по себе. Я будто увидел лицо кишиневского погрома», — много лет спустя рассказывал папа.

Рабочие и инженеры кричали «Смерть убийцам», «Смерть врачамотравителям». Исступленно кричали, дружно, друг перед другом и одновременно искренно, но вместе и не сами по себе — среди них находились невидимые дирижеры. Самые активные или подлые поднимались на трибуну. И опять не сами по себе, по специальному списку, куда не так просто было попасть, но от этого папе не было легче.

Годы спустя мама, вспоминая, рассказывала, как известная ткачиха кричала с трибуны: «Вот, посмотрите, что делают евреи! Вот их настоящее лицо!»

Старый партиец, из ленинских еще кадров, помнивший про интернационализм и про мировую революцию, обернулся к Голубову:

— Разве можно так? Разве партия допускает?

— Пусть народ говорит! Пусть говорит все, что наболело!

В один из таких дней папа почувствовал себя плохо и слег в больницу с гипертоническим кризом. Из больницы он вышел только недели через три, когда по радио сообщили о тяжелой болезни Сталина. Папа сразу понял: умер или вотвот умрет.

Сталин умер так вовремя, что вскоре папа стал думать, будто Отца народов отравили соратники. По меньшей мере совсем немало посодествовали его смерти¹¹⁴. Не один папа так думал. Много раз Леонид слышал эту версию, что вождя отравили. Но, конечно, никто не мог знать точно, и папа тоже. Леонид запомнил, как папа однажды пошутил:

— Если Сталин умер сам, это служит наилучшим доказательством, что на небе есть Бог и что терпение Его безгранично.

После смерти Сталина, глубоко несчастного, одинокого, больного, подозрительного и злобного старика, державшего в своих до последнего сильных и жестоких руках судьбы Европы и Азии, началась рахитичная, противоречивая оттепель — третьего апреля, почти через месяц, освободили врачей, а еще через день арестовали организаторов убийства Соломона Михоэлса.

Не заказчика, как много позже стали говорить, заказчик вплоть до Двадцатого съезда будет оставаться неприкасаемым идиолом, но довольнотаки немаленьких стрелочников.

В высоких кремлевских кабинетах шла жестокая, переменчивая борьба — за власть, за жизнь, за то, чтобы скрыть измаранные в крови одежды. Уже в июне принесенного в сакральную жертву Берию обвиняли на пленуме, что публичной реабилитацией кремлевских врачей он «произвел тягостное впечатление на общественность»¹¹⁵.

О да, Берия был негодяй, страшный интриган и убийца, сменивший карлика Ежова организатор сталинской машины кровавых репрессий, однако огромнейшая часть вины лежала на других: формально расстрельные списки утверждались не лично Сталиным и не Берией, но всеми членами Политбюро — все были вовлечены в круговую поруку, повязаны кровью, как обыкновенные разбойники. И сталинский недолгий преемник Маленков, очень тучный человек с бабьим лицом и бабьей фигурой, стоявший у истоков «Ленинградского дела» и «дела врачей», и главный «реабилитатор» и «борец со сталинизмом», хитрый и малограмотный Никита Хрущев, бывший в недавнем прошлом одним из ведущих инквизиторов в Москве и на Украине¹¹⁶, — все были не по локти, но по горло в крови. Берия был лишь самый хитрый, самый страшный и опасный из них и оттого все они его ненавидели и боялись. Папа очень хорошо знал их; папа много чего знал и умел анализировать и оттого не поверил — ни в возвращение к «ленинским нормам», ни в сами эти нормы. Он знал: бандиты и ортодоксы. Знал, что партия на десятки лет пропитана сталинским ядом. Не мог забыть ни расстрел Еврейского антифашистского комитета, ни «дело врачей», ни истерические митинги, ни множество процессов поменьше, похожих на средневековые¹¹⁷, ни дикие бунты против врачейевреев¹¹⁸, ни упорно циркулировавшие слухи о депортации. Память много чего подсказывала папе, история была не только его профессией, но и стихией — и суд над Бейлисом¹¹⁹, и эпопею Дрейфуса¹²⁰ и процентную норму¹²¹, и черту оседлости, и депортации в Первую мировую¹²², и погромы: царские еще и красные, буденновские, а оттого папа твердо знал, что с фамилией Клейнман в жизни у Лёни будут немалые проблемы.

О, еврейская память — память несчастий, обид и скорбей — несколькими годами позже, на Кавказе, куда папа сбежал изза Голубова, нет, пожалуй, не только изза Голубова, было еще какое-то письмо, будто папа протаскивал своих, с Украины, и неправильно толковал классовую борьбу в деревне, преувеличивал перегибы, раскопал в архивах что-то не то, о чем не положено было писать и говорить, словом, кто-то свой написал, приближенный, папа даже знал, кто, с санкции недовольного папой все того же Голубова — да, так вот, на Кавказе, папа, бывало, часами сидел с Гольдманом. Гольдман тоже был немаленький человек, глава всей краевой торговли — сидели два высокопоставленных еврея с Украины и вспоминали: Гольдман — семью, убитую в Холокост в Львовском гетто, и погромы, что начались еще прежде, чем пришли немцы, сам он только чудом спасся тогда, пересидел у знакомых украинцев и вовремя успел уйти, а папа — родственников, незадолго до Первой мировой войны уехавших в далекую Америку. И оба вспоминали соседей, отправившихся в поисках счастья в начале века в Аргентину и Мексику. Гольдман был моложе папы, но и он застал эмиграцию: Львов был под Польшей до самого начала Второй мировой. И еще запомнил Лёня: Гольдман сильно переживал, что местные, совсем не юдофилы, однако хотели взять в Крайисполком какого-то толкового еврея, кандидата наук, но в ЦК им отказали.

С сороковых-пятидесятых на всю оставшуюся жизнь в душе у папы оставались — Лёня не смог бы определить точно — то ли страх, то ли горечь. Не за себя только, но и за детей. И *нелюбовь к ним*. Непроходящая обида.

Папа многое предвидел, но никогда, — что рухнет однажды железный занавес. Он даже не мечтал уехать в Израиль. Родина предков казалась недостижима. Дальше, чем космос, куда евреев тоже не пускали, в другом мире...

От своего страха или горечи, от разочарований и дум, папа, возможно, и умер так рано, в шестьдесят. Впрочем, папа и позже, уже в шестидесятые, успел нахлебаться неприятностей.

Многие папе завидовали: заведующий кафедрой самой главной из наук, а он страдал, ему было тошно. Григорий Маркович (Герш Менделевич по паспорту) Клейнман оставался одним из немногих евреев при власти — членом бюро горкома, жрецом этой *их* партии, давно антисемитской, *и х* идолопоклонской религии, служил у *них* придворным евреем¹²³, видел *и х* власть вблизи, насквозь, *их* лживую, без принципов, малообразованную номенклатуру. Наблюдал процесс *и х* вырождения. Папа называл их «болтунами». Особенно многоречивого дилетанта Никиту, недалекого, хитрого, несдержанного мужика, «этого простолюдина на троне», как однажды сказал, не сдержавшись. Но ведь и сам он был «болтун». Это только кажется, будто поменять кожу легко, что не стоит большого труда притвориться. Но притворяться много лет, молчать, терпеть, все видеть и понимать, лгать — нет креста тяжелей. Оттого *они* и пили. Но папа не пил. Он находился среди *них* вынужденно, по давней неисправимой ошибке, но — чужой. Вечно чужой. Не мог терпеть *их* бани, выпивки, псевдомарксистский жаргон. *Их* невежество. Хамство. Но папа говорил об этом неохотно. Лёня только смутно догадывался. А о многом узнал потом, когда папы уже не было в живых.

Намного чаще и с явно большим энтузиазмом обращался папа к еврейской тематике: вспоминал, бывало, про проект еврейской республики в Крыму — дело вроде было почти решено, полагал папа, — про Жемчужину, про Михоэlsa и Лозовского¹²⁴, который предлагал отцу переехать на работу в Москву, но — судьба берегла. Она другое приготовила папе, да и Лёне тоже, надолго — быть маранам¹²⁵.

Папа не верил, что стены падут. Он и в мечтах не мог предвидеть, что правнуки его родятся в Израиле, в стране, которую он любил и которую, наверное, даже во сне не рассчитывал увидеть. Зато папа не верил *и м*, слишком хорошо знал *их*, и оттого при рождении записал Лёню Вишневецким. А когда Лёня оканчивал школу, он сам записался русским. С кем нужно было, договорился отец, Лёня только заполнил анкету. Долго потом он боялся разоблачения и одновременно испытывал стыд из-за своего отступничества, но в то же время не хотел быть изгоем. С волками жить, поволчьи выть.

Много лет после этого Лёне казалось, что в Большом доме в Ставрополе, где жили тогда, а может, в Москве на Лубянке, в подвалах, где раньше пытали, где по полу текла кровь и бегали крысы, где вырывали признания, выбивали зубы и кроили дела, теперь вдоль всех стен стояли стеллажи с бесчисленными папкамитомами — на каждого — с рапортами, справками, доносами и другими бумагами, где каждое слово вносили в реестры — там некто мудрый с одобрительной улыбкой наблюдает за ним: сам Сталин велел евреям ассимилироваться. И он — сломался. Оказался нестойким. Его предательство — только отчасти предательство, но и исполнение *их* воли. А может, совсем наоборот: *там* все знают и только ждут пока он оступится. Предавший однажды предаст и еще...

Став русским по паспорту, Лёня, конечно, не стал настоящим русским: ни православной веры, ни народных поверий, ни прежних праздников, ни гордости за империю или за прошлое, ни тех невидимых корней, что растут от дедушекбабушек, из веков. Напротив, он чувствовал себя оскорбленным и униженным — да чем русские лучше евреев? Но и настоящим евреем он уже не был. Традиции к тому времени оказались разрушены, и он не знал ничего: ни язык, ни историю, ни праздники — ни рошгашана¹²⁶, ни пурим¹²⁷, ни суккот¹²⁸, только про йомкипур¹²⁹ Лёня случайно прочел в детстве в какомто рассказе Короленко, да иногда на пейзажах¹³⁰ угощался мацой. Мацу, как последнюю реликвию, как тонюсенькую ниточку, связывавшую с праотцами, привозили иногда из Москвы, где находилась чуть ли не единственная в огромной стране синагога, и по несколько тоненьких, хрустящих пластинок делились друг с другом.

Одним словом, манкурт. Слово это, с легкой руки Чингиза Айтматова, как раз в шестидесятые широко вошло в обиход.

12

Леонид Вишневецкий смолоду любил размышлять, иной раз на часы погружаясь в мечты, и у него была замечательная память: стихи он запоминал обычно с первого раза — по наследству, потому что многие поколения его предков веками размышляли над Талмудом и над великими книгами бытия и напрягали свою память, чтобы вызубрить наизусть священные тексты. Непростыми были эти предки — лишь в начале восьмидесятых под великим секретом Леонид узнал от мамы незадолго до ее смерти, что среди них встречались знаменитые когены¹³¹ и левиты¹³², раввины, прямые потомки служивших в Храме.

В отличие от предков, память Леонида была свободна. В Бога он не верил и Библию прочел, да и то не всю, а лишь самые известные места, уже в новое время, в очень даже зрелом возрасте. А оттого, когда стал научным руководителем на общественных началах, оформил пенсию и несколько лет назад переехал на постоянное место жительства в Израиль, где давно жили дети и родились внуки, с которыми Леонид почти не мог разговаривать, потому что внуки плохо знали русский, а он слабо освоил иврит, у Леонида оказалось очень много свободного времени. А потому он часто по многу часов гулял вдоль моря, слушал вечный, равномерный шум прибоя или тихую, робкую песнь лижущего песок отлива и думал — вспоминал прошлое; не только свое, но и своего народа.

Както в том месте на тельавивской набережной, где особенно чувствительные люди слышали в тихие звездные ночи едва различимый плач, доносившийся с «Альталены»¹³³, Леонид Вишневецкий попытался вспомнить, хотел ли он когданибудь в действительности стать русским, стыдился ли своего еврейства?

«Пожалуй, да, — думал Леонид. — Пожалуй... Воображал... Но едва ли слишком серьезно...», — воспоминания были размытые, время... Да, слишком много времени уткло... Он давно осознал свою идентичность... Разве что в младших классах, когда дрался с второгодником Сашкой Сурковым. Тот был сильнее и Лёня знал, что Сашка бьет его за то, что он еврей. Лёня испытывал тихое отчаяние, но пытался не заплакать... Тогда жалел, что еврей...

Хотя... И позже Леонид долго пытался скрывать национальность. Но уже вовсе не оттого, что стыдился, а — так нужно было, на всякий случай. Так велели дома. Да, там много чего было напутано... Государственный антисемитизм, как проявление идиотизма системы... И собственное отступничество тоже...

...Лет через десять после того, как с папиной помощью Лёня записался русским, настала очередь племянника Володи, унаследовавшего имя от умершего прадедушки Велвела, получать паспорт. Володя очень сильно переживал, что еврей, и настаивал, чтобы его тоже записали русским. Подобно заправскому антисемиту, но со слезами на глазах, он в отчаянии утверждал, что евреи много хуже русских — жадные, хитрые, трусливые. Его, очевидно, очень сильно затравили в школе и он безвольно комплексовал. Сестра с ног сбилась, пытаясь отыскать знакомых — любой каприз своего мальчика она готова была исполнить, — но так и не добилась ничего. Не нашла нужных людей.

Лёня к тому времени заканчивал аспирантуру, жил по большей части в Москве и смотрел на сопливое отчаяние племянника свысока, называл коллаборационистом и маменькиным сынком — сам он давно переболел; Леонид уже много лет, особенно после Шестидневной войны, ощущал себя евреем и израильским патриотом и тайно подумывал об эмиграции. Его конформизм к тому времени закончился...

...В Ставрополе Лёня учился в двух разных школах. В первой ничего такого не было, он, по крайней мере, не мог ничего вспомнить, но во второй дразнились сильно, както даже до слез, особенно летом в колхозе — больше всех этот самый Сашка Сурков, второгодник.

С Сурковым история вышла особая. Вначале он задибался и часто дразнился «евреем» и «жидом», подговаривал ребят и лез драться — он был намного сильнее, — но через несколько месяцев, обнаружив, что в карманах у Лёни водились приличные по тем временам деньги, стал кланяться и набиваться в друзья. И даже рассказывал, что он никакой не антисемит, у его матери лучшая подруга наполовину еврейка, а вот классная руководительница Людмила Александровна — точно, и что изза этого Лёня никогда не станет у нее отличником.

— А как же Клара Штайн? — спросил Лёня. — Она же тоже еврейка.

— У нее отец портной. Такой маленький еврейчик. Обшивает Людмилу Александровну и все ее семейство. И всех родственников, — сообщил всезнающий Сурок.

С Кларой Штайн и в самом деле выходило интересно. Это была тихая, незаметная, светленькая девочка с очень еврейским лицом — точно такие же еврейские лица Лёня видел на фотографии памятника евреям из Варшавского гетто в журнале «Америка». Однако Клару никогда не дразнили. Дразнили Лёню, хотя в детстве он мало похож был на еврея.

В детские годы Лёня много читал, а оттого в мечтах видел себя то русским помещиком, то царем, то белым офицером или генералом — он ненавидел красных, плебс, — сын заведующего кафедрой, профессора, принадлежал к белым, к аристократам. Он не задумывался, что его отец — красный, хотя и не настоящий, не из тех профессоров, которых высылали на пароходе. Да и про пароход он узнал много позже — оказалось, что пароходов было несколько, и не только пароходы, но и поезда тоже, и высылали не только философов — узнал только во второй половине восьмидесятых...

...Да, все так. И все же он знал, что — еврей. Не такой, как все. Что евреев не любят... И он ответно не любил «их». Лёня не мог бы определить точно, кто эти «они». Скорее всего — власть. Он не любил *их* тупую, ущербную, подозрительную власть. И не любил тех, кто не любит евреев...

Эти «они» поклонялись Марксу, еврею, но лживо называли его «сыном немецкого народа». Папа говорил иногда дома, что главным человеком, делавшим революцию, был Троцкий. Но эти «они» ненавидели Троцкого и, однако, поклонялись своей революции. А Иисус? Леонид не мог вспомнить, когда узнал про Иисуса, про распятие... Иисус Христос очень долго был на периферии его сознания. Интересно, когда он узнал, что Иисус, Иешуа — еврей? Скорее всего, уже в институте. Леонид помнил только, что в начале семидесятых, года в двадцать три прочел «Мастера и Маргариту». Вот тогда и узнал впервые: Иешуа...

Лёня любил историю и с детства помнил всех русских царей. А еврейских? Наверное, слышал про Соломона и Давида. А вот имя первого еврейского царя Саула услышал впервые лет в тридцать. Он слегка подрабатывал переводами в ВИНТИ¹³⁴ — евреи, что с юмором, иногда называли его Всесоюзным институтом недобитых иудеев, потому что зарплаты там были мизерные, и когда гнали отовсюду, евреи в Институте информации находили прибежище — так вот, статьи для перевода выдавала Леониду Татьяна Сауловна. Он, помнится, очень удивился, услышав такое непривычное отчество. Да, вот тогда он и узнал...

Древние евреи и греки заложили основы современной европейской цивилизации. Однако в многотомной «Всемирной истории» об Иудейском царстве было всего несколько строк. А ведь евреи подарили человечеству первую монотеистическую религию, Великую Книгу и prophets — первых социалистов...

Увы, Библия была запрещена почти так же строго, как «Майн кампф».

На следующий день после защиты диссертации Леониду передали приглашение от стенографистки зайти к ней домой. Требовалось выправить текст.

Перед Леонидом предстала немолодая, но и не старая еще, интеллигентная и любезная женщина. Общаться с ней было легко и приятно — текст уточнили и выправили быстро и, как положено в таких случаях, попили дежурный чай с печеньем и лимоном. Леонида привлекла фотография в рамке, стоявшая на столе: то был отец Евдокии Ильиничны в казацкой офицерской форме, в папахе и с шашкой в руке. Стал ли он красным или белым — этого Леонид никогда не узнал. Евдокия Ильинична как две капли воды похожа была на него. И Лена тоже... Крепкие семейные гены...

Через приоткрытую дверь было слышно, как молодая женщина с очень приятным певучим голосом читает сыну сказки. Леонид тотчас все понял: фамилия Евдокии Ильиничны была Морковникова, как у Лены... Он сразу вспомнил, что Людмила Александровна когда-то упомянула, что мама Лены Морковниковой — стенографистка. Да, тут же все понял, все вспомнил — и сделал вид, что не догадался...

Классе в пятом или в шестом они с Леной както оказались в классе одни. Она сидела за партой, и он зачемто повернулся к ней.

— Еврей, — выпучив рыбы глаза, неприятным голосом сказала она. И с неприязнью повторила: «еврей».

«Так вот откуда это идет, — подумал Леонид, сидя с Евдокией Ильиничной. — От казачества». И притворился, будто ничего не понял. И она, Лена, не вышла из своей комнаты, возможно, вспомнила то же самое.

Через несколько дней пришлось снова зайти к Евдокии Ильиничне, — расписаться в протоколе.

— Лена вас вспомнила, — приветливо сказала она. — Рассказала, что вы учились в одном классе. Жалко, что сегодня она будет поздно. — И стала рассказывать про Лену, что жизнь у нее не задалась. Закончила биофак, очень рано вышла замуж, родила мальчика, но муж ее бросил, загулял, так что теперь она матьодиночка, работает в огромной оранжерее, очень любит цветы, целыми днями пропадает на работе или занимается ребенком, и в свободное время тоже целыми днями сидит дома, переживает, читает, плачет иногда. В театр, в кино и то сходить не с кем.

— Мы когда-то вместе пришли в ботанический кружок. Только я почти сразу бросил, — вспомнил Леонид.

Он так и не догадался, был ли в словах Евдокии Ильиничны какойто намек или просто жалоба переживающей матери, но в душе пожалел Лену. Он простил ее и даже почувствовал к ней симпатию. Все давно прошло. Возможно, ничего такого и нет... Детская глупость...

14

В детстве сознание Лёни, или самоидентификация, как много позже стали говорить, было смешанное: русское, еврейское, советское — все было в нем перемешано. «Человек рождается с душой, как чистая книга, — слышал Лёня в детстве от бабушки, будто так говорили когда-то мудрецы. — Сначала пишут в этой книге родители и ближайшие родственники, потом воспитатели и учителя, и, лишь возмужав, человек начинает писать книгу своей судьбы сам». Так что вполне в любую сторону могли качнуться письмена, а с ними и судьба пойти той же дорогой. Но качнулись письмена в еврейскую сторону. Лёня точно запомнил, что произошло это после девятого класса, когда поехали с родителями в Киев, на родину их молодых лет.

В этом городе, в Егупце¹³⁵, как иногда шутя говорил папа, ходили смотреть дом, где до войны жили всей семьей, недалеко от Крещатика. После того как папа спасся из аспирантуры у Блюмкина, в комнате оставались тетя Соня и бабушка. В войну им удалось чудом эвакуиро-

ваться, в самый последний момент — как-то знакомые сжалились и взяли их с собой, посадили на грузовую машину. Машина эта была чуть ли не последней перед тем, как захлопнулся Киевский котел. И все... Вернуться они не смогли. В сорок четвертом квартиру отдали важному энкавэдэшнику, смершевцу.

Дедушка с тетей Соней ездили в сорок пятом году в Киев, хлопотали, стояли в очередях по инстанциям, но везде получили отказ. В то время отказывали многим — жилья не хватало, город был сильно разрушен, оказалось, однако, не только...

Когда тетя Соня вошла на костылях к какому-то чиновнику, тот, бросив на нее скептический взгляд, спросил:

— Ведь ваша фамилия Клейнман?

— Клейнман.

— Летите как мухи на мед... Я вот что, — продолжал чиновник, — из сочувствия к вашим костылям. Зря вы ходите... Шансов никаких... От немцев убежали, а теперь хотите вернуться? Добренских нашли... Евреи не нужны Украине. Много от вас было беды... до войны... Политика такая... Не я это выдумал...

Вскоре папа выяснил, что чиновник не врал. Ктото рассказал папе, как Хрущев кричал по телефону Юсупову, первому секретарю ЦК Узбекистана, что «они слетаются на Украину, как вороны» и требовал остановить поток возвращавшихся из эвакуации евреев.

А в шестьдесят втором Голдентуллер, папин двоюродный брат, рассказывал, что в сорок пятом, в сентябре — он тогда как раз по ранению демобилизовался из армии, — в столице Советской Украины происходил настоящий еврейский погром. Только за один день избили больше ста человек, несколько десятков в тяжелом состоянии были доставлены в больницы, из них пятеро умерли в тот же день.

— Я крепкий был, молодой, кулачищи что надо, а все равно боялся высунуться из дома, — поведал Голдентуллер. — Несколько дней, пока утихло, сидели с матерью без хлеба и воды. Ждали, что и в дом могут ворваться. Моего знакомого, по фамилии Ласкер, он и еврей-емто был наполовину, а на вторую — армянин, черный такой, смуглый, кудрявый, на соседней улице забили насмерть. А ведь только прогнали немцев. Еще совсем свежо все было в памяти...

15

Голдентуллер был чрезвычайно крупный, некрасивый человек с большим носом и очень высоким, похожим на башню лбом («родовая травма, — пояснил папа, — тащили за голову щипцами»), мрачный, как тысячелетняя еврейская скорбь.

У прадеда Моисея, дедушкиного отца, было семь детей: шесть сыновей и дочь Ривка, которую он выдал замуж за часовщика Голдентуллера. Этот Голдентуллер, старший, основатель киевской ветви, был австрийскоподданный из Вены. Когдато он рассказывал, еще до революции, что его отец, потомственный часовщик, чинил часы самому ФранцуИосифу¹³⁶. У процветающего часовщика выросло шесть сыновей, и все они унаследовали профессию от отца. Чтобы не составлять друг другу конкуренцию, братья разъехались по разным странам. Младший, Иосиф, выбрал Киев, где у матери жили дальние родственники, а у отца имелись деловые партнеры. В Киеве он открыл знаменитую мастерскую и женился на дедушкиной сестре Ривке. Вначале Иосиф преуспевал, но недолго — в Первую мировую семью интернировали. Однако Иосиф был ловкий человек и вскоре выхлопотал разрешение на проживание в Казани. Вернувшись в Киев при Скоропадском¹³⁷, Иосиф Голдентуллер собирался уехать с семьей в Вену, где живы были еще родители, но там разразилась революция, а тут — Гражданская война, он застрелялся в Киеве и через несколько лет сделался нэпманом, но его сначала ограбили, а в тридцать седьмом арестовали как немецкого шпиона и вскоре расстреляли.

Сыну Голдентуллера, то есть Михаилу Иосифовичу, или Михелю, как звали его дома, с матерью Ривкой, бабушкиной сестрой, повезло — незадолго до тридцать седьмого года пятидесятилетний Иосиф Голдентуллер безумно влюбился в молоденькую певичку, то ли венгерку, то ли цыганку — она таки была дьявольски соблазнительна, настоящий цимус, Михаил с матерью видели ее однажды и тоже едва не влюбились, — так вот, отец за несколько лет до того ушел из семьи, а потому их не тронули.

По утверждению Михаила Иосифовича, отца могли расстрелять дважды: во первых, за то, что приехал из Австрии — за это всех тогда расстреливали; а во вторых, оттого, что перебежал со своей певичкой дорогу одному из высоких цековских бонз, Михалевичу, человеку из окружения Косиора — тот, якобы, еще до отца, был одно время любовником этой певички и дико ревновал ее к отцу. Так вот, отец както набил ему морду. Впрочем, певичка эта не досталась и Михалевичу: того тоже вскоре расстреляли — за польский национализм, в Москве уже, вместе с Косиором.

Михаил Иосифович Голдентуллер, как и отец, был часовщиком. Он заведовал мастерской и, по утверждению других родственников, отчего-то его не любивших, делал левые дела и какимто боком участвовал в контрабанде швейцарских часов. Жил он с семьей вроде бы в хорошем достатке, хотя квартира Голдентуллеров показалась Лёне небольшой и темной. Много лет спустя Леонид уже не помнил: то ли вокруг дома росло очень много деревьев, создававших густую тень, то ли квартира располагалась в полуподвале, а может занавесы были плотно задернуты, но в комнатах было совсем темно, и оттого горел свет. Не просто лампочки в абажуре, но старинная люстра из хрусталя, привезенная из Австрии в самом начале века и непостижимым образом пережившая все: и интернирование, и высылку, и Гражданскую войну, и тридцать седьмой год, и снова войну. И еще запомнил Лёня: стол ломился от яств, и подавали в очень красивом, состоявшем из бесчисленных блюд сервизе. Вероятно, то был мейссенский фарфор, тоже какимто чудесным образом сохранившийся.

Женат был Михаил Иосифович на тихой, блеклой, очень светлокожей еврейке из Литвы. В ту пору Михаилу Голдентуллеру было за пятьдесят, однако единственному их сыну, Осе, исполнилось лет восемь. Это был очень живой, кареглазый, очень светлокожий — в мать — шаловливый и красивенький мальчик. Лёня, однако, плохо его запомнил. В то время совершенно нельзя было предвидеть, что из этого Оси вырастет известный отказник, диссидент и сионист, о котором много будут писать западные газеты и говорить «Голоса». Года два проведя в тюрьме за организацию изучения иврита и еще несколько лет за письмо в ООН, которое читали с трибуны Генассамблеи, он многие годы провел в отказе и прославился тем, что не раз давал интервью иностранным корреспондентам, много раз обводил вокруг пальца непрерывно следивших за ним кэбээшников, помогал соседям и знакомым оформлять документы на выезд в Израиль, многих даже сопровождал самолично до станции Чоп и только в самом конце перестройки, когда Украина проголосовала за независимость¹³⁸, уехал в Израиль.

Через некоторое время после отъезда Иосифа, уже в самом начале девяностых, двоюродный брат Лёня рассказывал, что станция Чоп в советское время превратилась в Украине в притчу во языцех, в совершенно дьявольское, страшное место, которым пугали детей, так там шмонали и грабили уезжавших евреев, злобствовали и издевались пограничники и таможенники от ЧК, отбирали и теряли документы, самоуправствовали, заставляли иной раз неделями ожидать на вокзале, сплетали в дикую злобу собственную зависть с казенными инструкциями. «Хуже, чем казаки Хмельницкого», — говорил Лёня.

Так вот, рассказывал брат, в этом дьявольском советском Чопе у Иосифа Голдентуллера обнаружилось необыкновенное свойство: едва он приезжал, шмон на таможне не то чтобы стихал, но принимал хоть чуть цивилизованные формы, а свиные таможенники чудесным образом на время превращались в обыкновенных людей, не добрых, но и не отпетых гадов, даже с хилыми проблесками улыбок на вечно хмурых, злых лицах. «У Иосифа сильное био-

поле, необыкновенная одическая сила, — попытался объяснить Лёня. — Его биополе подавляло низкочастотное поле таможенников. Он ведь в тюрьме еще делал специальные упражнения. Много раз побеждал, закалял волю. Они его боялись».

«Недавно открыли особые волны, — продолжал Лёня. — Мне рассказывали, что в Подмосковье работали специальные лаборатории, тайные конечно, где разрабатывали психотропное, энергетическое и даже этническое оружие...»

Леонид не поверил тогда, подумал, что это завихрение, что такого не может быть. Только много позже он прочитал в серьезном научном журнале, что подобное оружие действительно разрабатывали: какойто особенный, психотропный нацизм. Какието гибридные войны...

Ко времени отъезда Иосифа в Израиль Михаила Иосифовича в живых уже не было. В семидесятые он попал в тюрьму, вроде бы за соучастие в контрабанде, хотя ничего так и не сумели доказать — в тюрьме он еще до суда умер от инфаркта.

Лёне на всю жизнь врезался в память разговор за столом. Начал его Голдентуллер. Подняв бокал с красным вином, он провозгласил:

— Жалко, вас не было в Киеве. Егупец всетаки сильно еврейский город. Такой пуримфест мы здесь праздновали в пятьдесят третьем году, вскоре после смерти Амана, когда освободили врачей. Был апрель, холодно, но евреи специально открыли окна и крутили пластинки назло антисемитам. Весь Киев тонул в тот день в еврейских мелодиях. Отовсюду доносились песни Утесова или Горюха, а где и «семь сорок» играли. Антисемитский Киев в тот день превратился в Иерусалим. И в пятьдесят пятом опять пуримфест, когда реабилитировали членов Антифашистского комитета. Нет, вы представляете, расстреляли за антифашизм... Только, сдается мне, самый главный пуримфест впереди. Когда распахнутся двери и фараон нас отпустит.

— Лехаим¹³⁹, — закончил Голдентуллер. — На следующий год в Иерусалиме.

— Лехаим, — поддержал папа.

16

— Как у вас? — Лёня запомнил, что спрашивала жена Голдентуллера тетя Хася. — У нас тут хуже всего. В институты с пятым пунктом совсем не берут. У соседей парень очень талантливый по математике, олимпиады выигрывал, учителя говорили: вундеркинд — в Киеве никуда не смог поступить. Поехал учиться в Ростовский университет. Вроде в России тоже антисемитизм, но не настолько.

— Да что там, взять хоть медицинский. Тут уже никаких секретов: не физика и не математика. Ракет не делают, — перебил жену Голдентуллер. — У Хаси есть родственница, чудесная девушка, отличница. Три года поступала в Киеве. Резали специально. Пришлось ей ехать поступать в Ташкент к родственникам. Чтобы стать обыкновенным участковым врачом. Без всяких перспектив.

— У нас тоже растёт сын, — поддержала мужа Хася Григорьевна. — Еще маленький, только первый класс закончил, а уже голова болит. Чтото с ним будет?

— Его както обозвали жидочком. Так он всех троих отлупил. Нас потом вызывали в школу, — с гордостью похвастался Михаил Иосифович. — Больше не смеют, боятся.

17

Однако самое сильное впечатление у Лёни осталось от посещения маминого племянника Аркадия. Лёня часто потом удивлялся: вроде бы папа всегда был в курсе всех новостей, следил за всем, а тут вроде как сюрприз.

Они вошли, на столе лежала книжка Евтушенко, Лёня стал листать. Он листал, ничего не подозревая, скорее всего, не слышал прежде эту фамилию — Евтушенко. Ничего не слы-

шал — ни про вечера в Политехническом, похожие на митинги, где выступали Евтушенко, Вознесенский, Рождественский... От этих вечеров концертов и возникло, скорее всего, слово «оттепель», введенное в оборот Эренбургом¹⁴⁰. Эренбург его не произнес, — это название его повести, и другое слово: «шестидесятники». Но он не знал ничего — провинциал все-таки, мало что до провинции доносилось...

И вот тут, с его ли легкой руки или нет, жена Аркадия Люба — да, Люба, или Лана, ведь столько лет прошло — заговорила, обращаясь к папе:

— Дядя Гриша, вы читали «Бабий яр» в «Литературной газете»?¹⁴¹ Написал Евтушенко. Сказалтаки правду.

Вот тогда и впечаталась — на всю жизнь — эта фамилия: Евтушенко. И название: «Бабий яр». И слова.

Папа что-то сказал неопределенное, ни «да», ни «нет», ему, очевидно, стало неловко, а Люба принялась декламировать:

«Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.
Мне сегодня столько лет,
как самому еврейскому народу...

* * *

...Над Бабьим Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно,
Посудейски.
Все молча здесь кричит,
И, шапку сняв,
Я чувствую, как медленно седею.
И сам я,
Как сплошной беззвучный крик,
Над тысячами тысяч погребенных.
Я — каждый здесь расстрелянный старик.
Я —
Каждый здесь расстрелянный ребенок.
Ничто во мне
Про это не забудет:
«Интернационал»
Пусть прогремит,
Когда навеки похоронен будет
Последний на земле антисемит.
Еврейской крови нет в крови моей.
Но ненавистен злобой заскорузлой
Я всем антисемитам,
Как еврей,
И потому — я настоящий русский.

В тот день только и говорили о стихотворении Евтушенко и о нем самом. И Лёня узнал, — а может, не все в тот день, может кое-что позже — что главного редактора «Литературки» Валерия Косолапова вскоре уволили — за «Бабий Яр», и самого Евтушенко стали тра-

вить, и что та же «Литературная газета» вынуждена была опубликовать статью некоего Старикова, обвинявшего Евтушенко в отсутствии интернационализма, а казенный поэт Алексей Марков написал Евтушенко злобное письмо в стихах:

«Какой ты настоящий русский,
Когда забыл про свой народ.
Душа, что брюки, стала узкой.
Пустой. Что лестничный пролет».

И что, главное, сам Хрущев обвинил Евтушенко в политической незрелости и незнании исторических фактов. Что, мол, не одни евреи в «Бабьем Яру» похоронены.

Но, как бы советские антисемиты ни бесновались, стихотворение сразу же перевели на многие языки, а Евтушенко стал чуть ли не всемирно знаменитым. А на месте «Бабьего Яра» попрежнему располагается огромная свалка.

— Я не понимаю, — недоумевал Лёня, — почему они скрывают? Зачем? Ведь не они же расстреливали, а фашисты, немцы. Чем им мешают стихи Евтушенко? Что в них не так?

— В этом нет никакой логики, — улыбнулась Люба. — Абсолютно никакой. Антисемитизм — это что-то звериное, зоологическое... На уровне первобытных инстинктов... Сублимация энергии ненависти...

В тот день Лёня очень остро почувствовал себя евреем.

«Это нас убивали. И никому, никому не было до этого дела. Многие, может быть, радовались. Не все, конечно, но ведь находились... Нелюди...

Это нас ненавидели веками. За что? И меня бы убили, если бы я был там. И папу, и маму, всех».

Да, в тот день он почувствовал, что неотделим от убитых, и от живых тоже. Что какая-то мистическая связь существует между ними всеми, и он не может вырваться, не может порвать эту невидимую связь. Кого-то из евреев он может любить или, наоборот, ненавидеть, но все они нерасторжимо связаны — судьбой, изгойством, гениальностью, историей, несуществующим вечным Богом. Думал ли он именно этими словами, или другими, Леонид давно не помнил — дело заключалось не в словах. Но — существовало чувство общности, может быть, даже чувство любви. К чему, к кому? К общности судьбы? Пожалуй...

Когда через год Лёня получал паспорт, он твердо знал, что — еврей, так что это было вполне прагматичное решение. Просто еврей — в сердце, а в паспорте — русский.

18

Лет до двадцати Лёня был уверен, что притесняют только евреев. Он, конечно, знал, что в республиках первыми секретарями обязательно назначают местных, а вторыми русских — присматривать за аборигенами. Это называлось ленинской национальной политикой. Слышал, что местные, коренные, так называемые национальные кадры, имеют всяческие привилегии в республиках — союзных и автономных, — русские же там — люди второго сорта, после местных, часто спаянных в тесные кланы. Зато русским положен был реванш в России, в Москве, в ЦК, в КГБ и армии. А евреи, выходило в советском ранжире — только третьего сорта. Евреям полуофициально был поставлен потолок. Еврей мог заведовать кафедрой, но не в самых элитных институтах, и никогда — быть ректором; главным инженером, но не директором завода. И уже совсем редко избирали евреев в Академию наук или принимали в Союз писателей. Впрочем, не избирали, не принимали, но все-таки были, особенно старые, избранные и принятые давно, заслуженные-перезаслуженные. Были физики — участники атомного проекта, но вот новых не брали; с каждым годом продвинуться становилось все трудней и трудней. И уже

совсем не было и быть не могло евреев — в КГБ, в ЦК и в правительстве. Кроме одного — по процентной норме — вечного Дымшица¹⁴².

Иногда, правда, случались анекдоты. После третьего курса Лёня состоял в Совете молодых ученых. И там же, в Совете, числилась Таня Нордман — он уже давно не помнит точно, но вроде бы Таня — очень приятная девушка. По фамилии Лёня был уверен, что еврейка, и даже подумывал, не стоит ли завязать с ней тесную дружбу.

— Ты знаешь, кто ее отец? — спросил както Дима Дворников, председатель Совета.

— Нет. А кто?

— Председатель краевого КГБ.

«Еврей и председатель КГБ?» — в этом было что-то невероятное, невозможное, что нечто опровергало все его представления.

— Неужели еврей?

— Ты что? — Дима покрутил пальцем у виска. — Совсем рехнулся? Латыш. Во время войны возглавлял штаб партизанского движения в Белоруссии.

— Но вроде латыши с Советской властью тоже не очень? Не лучше евреев.

— А красные латышские стрелки?¹⁴³ Как видишь, латышу можно. А было время, в ЧК, куда ни плюнь, везде евреи, — Лёня не понял, что этим хотел сказать Дима: просто сообщал факт или тайно злорадствовал.

Вообщето, Лёня много чего знал. Например, про сталинские депортации некоторых кавказских народов. Не только кавказских, но и крымских татар, и калмыков, что жили на границе Ставрополя. При Хрущеве депортированные народы возвратились назад. Както с родителями вместе в поезде Лёня встретил эшелон возвращенцев. Они, словно специально для всеобщего обозрения, располагались на огромных открытых платформах: мужчины в папахах, женщины в платках, скот в загонах, кудахчущие куры, чумазы громкоголосые дети, писающий мальчик на самом краю платформы — все напоминало гигантский библейский ковчег и одновременно исход из Египта.

Доходили слухи, будто в Грозном происходили массовые демонстрации и митинги русских, протестовавших против возвращения чеченцев, будто бы там громили горком и обком и что русские женщины ходили по вагонам проезжавшего поезда «БакуМосква»: просили пассажиров рассказывать в России, что в Грозном вернувшиеся чеченцы режут русских¹⁴⁴, и что началось массовое бегство русских из Грозного. Русские люди словно предчувствовали свою судьбу и судьбы своих детей.

А еще — это Лёня хорошо запомнил — в пятьдесят шестом, вскоре после Двадцатого съезда, он тогда был в третьем классе, разразилось восстание в Тбилиси¹⁴⁵. Сосед шепотом рассказывал, что демонстранты несли портреты Сталина, Молотова и Ворошилова, а портреты Хрущева разбивали и жгли. И что вроде бы хотели отправить телеграмму Молотову, но из Центрального телеграфа стали стрелять. Будто бы из пулемета. И что много людей убито. И еще: почемуто стреляли по поезду, вроде бы в русских и что поезд с ранеными мчался без остановок до самой станции Кавказской...

Да, если напрячься и припомнить, Лёня много чего слышал и знал, и про Новочеркасск¹⁴⁶ тоже, разве что о депортации немцев и корейцев просветился значительно позже, но — слеп был, и все вокруг были слепые, не догадывались, что империя смертельно больна. Да и не подозревали, что — империя.

Наверное, поэтому он был уверен, что притесняют одних евреев. Остальные равны. Между остальными дружба. С другими народами отдельные эксцессы, межнациональные распри, злоупотребления, пережитки, перегибы, мелочи, а антисемитизм — государственная политика. Лёня помнил, как папа переживал, когда в горком не взяли Вайнштейна — изза антисемитизма...

Да, он был уверен, что притесняют только евреев. И вдруг...

В то время он учился курсе на четвертом. Поступить в провинциальный мединститут ему, отличнику, к тому же сыну заведующего кафедрой, не составило никакого труда. Он, правда, не в мединститут хотел, а в МГИМО или в МГУ на философский, но папа напугал Лёню, что в МГИМО будут сплошные проверки, не дай бог откроется его еврейство, и что в МГИМО евреев не берут с самого первого дня по тайной инструкции Сталина от тридцать девятого года, когда вспыхнула недолгая, но бурная любовь с Гитлером. «МГИМО открыли во время войны, страна готовилась стать мировой державой, — рассказывал папа, — но инструкция продолжала существовать и действует до сих пор, будто не с Гитлером воевали, а наоборот, были с ним в тесном союзе. Много лет ее никто не видел, эту инструкцию, но продолжают неукоснительно соблюдать. А что касается философии, то ее нет давно, одно начетничество и ложь. Я страдал всю жизнь, старался извлечь хоть что-то живое из этой теории, и всякий раз за это живое меня били. Мне в свое время никто не подсказал вовремя, но тебя я обязан предупредить. И я тебе запрещаю! Слышишь? Запрещаю!»

Как раз в то время папа писал свою книгу и сильно нервничал, потому что очень не вовремя сняли Хрущева. Папа Никиту не любил: «малограмотный болтун», «хам и прожектер», но эти, новые, обещали быть еще хуже. Сталинисты... Доклад на пленуме делал Суслов — тот самый, которому, по дошедшим до папы слухам, Сталин поручил руководить депортацией евреев...

Так вот, Лёня окончил третий курс или четвертый, когда случился этот анекдот. Евреи вдруг оказались в привилегированном положении. Евреев в институт принимали, а армян и грузин — нет. А все оттого, что кто-то в крайкоме, не разобравшись, возмутился, что едут поступать в Россию, хотят задаром, не платить большие взятки в своих республиках. Цеховики проклятые...

Отчасти все действительно было так. Доходили слухи, что в Тбилисский мединститут принимают строго сто человек: всех, кроме самых блатных, цеховских деток и обкомовских, за огромные взятки. Между тем юноши и девушки из Грузии учились по всему Союзу. Это было очень выгодно — работать там врачом. Потому что врачам принято было давать огромные взятки. Рассказывали, что в этой солнечной республике хирурги часто не начинали даже экстренные операции, пока им не принесут многосотенную, а то и тысячную благодарность¹⁴⁷. От этих поборов многие ехали лечиться в другие республики. Там с них тоже брали взятки — знали, что грузины выгодные пациенты, — но совсем другие деньги, в несколько раз меньше.

Все так, но при чем тут абитуриенты? А главное, в крае было очень много местных грузин и особенно армян. Вот они и попали под раздачу.

Слух, что грузин и армян в этом году не будут принимать в институт, неисповедимым образом распространился очень быстро. Абитуриентов из Закавказья как ветром сдуло. Так что Боря Копелян, кудрявый брюнет, которого в том же году идиотскими вопросами срезали в Бауманке¹⁴⁸, тотчас сориентировался на экзамене по своей любимой физике и сказал:

— Товарищ преподаватель, вы немного ошиблись. Я хоть и кудрявый, и брюнет, но еврей, а не армянин. Копелян, вы можете уточнить, еврейская фамилия. Даже известный артист есть в Ленинграде.

Как ни странно, Борино хамство возымело действие. Он получил «отлично» и прошел в институт.

Этот анекдот долго потом смаковали в еврейских кругах, да и не только в еврейских, так что через много лет Леониду пришлось услышать про этот случай в Москве, одновременно с другим, тоже вошедшим в анналы институтской истории. Тот случай, второй, произошел, когда Лёня заканчивал институт: на выпускном вечере ведущий Саша Хожайнов под гомерический смех зала вручил солдафонам с военной кафедры копию картины Ивана Шишкина «Дубовая роща». И еще Лёня запомнил, как профессор Соболев как-то в гостях говорил папе:

— Вы посмотрите, что делается. В Бауманское училище Копеляна не взяли, как еврея. А тут, наоборот, потому что еврей.

— Не обольщайтесь, — серьезно отвечал папа. — Смешно, конечно. Но вся наша жизнь здесь — один нескончаемый трагический анекдот.

...Пожалуй, именно случай с Борей Копеляном открыл Лёне глаза. Он начал догадываться, что Советский Союз — больной организм и что антисемитизм — только надводная часть айсберга. Тем более что почти в это же время до Ставрополя докатились слухи о волнениях в Абхазии.

— Большому землетрясению обычно предшествуют малые, — сказал тогда папа. — Когда-нибудь все обрушится. Но я не доживу. И слава Богу. А ты — не знаю...

19

В тот год сразу два события напозли друг на друга. Шестидневная война и папина книга.

20

Шестидневная война... В девяносто восьмом, к пятидесятилетию Израиля, Леонид Вишневецкий поехал проведать детей. Вдвоем с Олечкой они отправились на несколько дней на Красное море в Эйлат. В Эйлате, едва приехали, Олечка встретила старую знакомую по МГУ и та так живописала прелести отдыха на Синае, что тотчас соблазнила Олечку. Леонид не знал, что это такое, Синай — помнил только, что по Синайскому полуострову несколько тысяч лет назад в течение сорока тяжких лет бродили евреи, бежавшие из Египта, а потому легко согласился.

Сразу после пограничного пункта — запомнились очень светлокожий египетский офицер в сияющем белом мундире и рядом с ним солдатнегр, нубиец, догадался Леонид, вспомнив древнюю историю — началась пустыня. Это была коричневатосерая, выжженная солнцем, коегде покрытая редким сухим кустарником и колючкой каменистая земля. Впрочем, через несколько минут уже ничего нельзя было разглядеть — автомобиль со всех сторон окружал непроницаемый, удушливый столб пыли.

Пылевое облако рассеялось через полчаса — достигли оазиса у моря: это были несколько убогих строений. На одном, под навесом — Леониду показалось, что это обыкновенное возвышение вроде рыночного, за которым обычно торгуют, — величественно сидели, поджав под себя ноги, несколько стариков, по всей видимости, бедуинов, но больше похожих на наших узбеков, чем на тех бедуинов, мелких, грязных, шумных, которых Леонид встречал в Израиле и в Египте. Напротив — облицованный цементом серый куб, где одновременно размещались туалеты и душевые кабины, и все... Вокруг были только песок и море, в котором купалось заходящее солнце.

«Гостиница», или «номер», представляла собой несколько скрепленных между собой стоячих плетней на примятом песке, без дверей и без крыши. В «комнате» величиной два на два метра прямо на песке лежал тонюсенький рваный матрас.

— И это все? — растерялся Леонид. Сопровождавший их бой сделал непонимающее лицо. — Хотя бы принесите подушку, — попросил Леонид. Бой кивнул. Леонид втащил в эту — он не знал, как это назвать — комнату, камеру, номер — свой дорогой чемодан.

«Далеко отойдешь — украдут. И где держать деньги? Мало ли, кто тут отдыхает».

Дочка со знакомой отошли куда-то купаться. Он остался один. В несколько минут стемнело, Леонид едва не заблудился среди таких же «номеров» и, не раздеваясь, лег спать.

Проснулся он утром, солнце уже взошло высоко, день обещал быть беспощадно жарким. На берегу, у самой кромки воды, он увидел цаплю, похожую на древнеегипетскую — изобра-

жения похожей птицы Леонид видел в какойто книге в окружении иероглифов. Кажется, в виде цапли изображена была какаято богиня...

Следовало побыстрее позавтракать и убежать отсюда — он не представлял, где можно будет спрятаться днем от палящего синайского солнца среди бесконечных песков.

Вчерашние старцы все так же сидели на прежнем месте, словно за плечами у них висела вечность. Восток...

Там же на возвышении стояли тарелки с завтраком — обыкновенный салат из неровно нарезанных помидоров и огурцов, посыпанных очень крупной солью и граненые стаканы с кофе с молоком. Кофе был странный, похожий на больничный, с кусками пенки, так что Леонид выпил его через силу.

Видя растерянность и недовольство отца, Оля не возражала, и они попросили отвезти их обратно — в Эйлат, к цивилизации, в нормальный отель. Вскоре появился бедуин с автомобилем.

— Я возьму с собой сестру, мне нужно отвезти ее в женскую консультацию, — сообщил он.

— Хорошо, — согласился Леонид.

Через несколько минут тряски и пыли, такой же непроницаемой, как вчера, приехали в женскую консультацию. Это был серый одноэтажный домкуб среди пустыни. По крайней мере, Леонид никаких других строений не заметил поблизости, кроме стоявшего рядом навеса, под которым сидела нескончаемая очередь таких же, как сестра бедуина, закутанных в черное, без лиц, только глаза и животы, олицетворяющих неистощимое восточное плодородие женщин.

«Здесь время остановилось, — подумал Леонид. — Тысячи лет они только и делают, что рожают и плавятся на солнце».

— Как называется это место? — спросил он у бедуина.

— Нувейба, — бедуин неопределенно махнул рукой в ту сторону, где стояло в зените солнце.

Нет, это название — Нувейба, Леонид не слышал раньше. Он помнил другие имена городов: ЭльАриш, ЭльКатара и Шарм ЭльШейх, а еще раньше, в пятьдесят шестом — Суэц и ПортСаид. Это ведь на этой земле, среди безводной, почти мертвой пустыни, израильские танки рвали на части, окружали, уничтожали и брали в плен бежавшую в панике египетскую армию...

21

С мая шестьдесят седьмого года папа и Лёня каждый день напряженно, сквозь шум и треск, а иногда и сквозь частые, похожие на удары молота о наковальню, звуки глушилки вслушивались в передачи «Голоса Америки», «Свободы», «Голоса Израиля», «Би Би Си», редко — «Немецкой волны». На Ближнем Востоке шло к большой войне. Вокруг крошечного Израиля все теснее затягивалась удавка. Арабские армии одна за другой выдвигались на передовые позиции: египтяне, сирийцы, иорданцы. На помощь к ним прибывали войска из Ирака, Алжира и других арабских стран. В середине мая президент Египта Насер потребовал вывести войска безопасности ООН с линии прекращения огня, с Синая. Это могло означать только одно: войну. Через несколько дней египтяне разместили гарнизон в Шарм ЭльШейхе и объявили о блокаде Тиранского пролива, перекрыв израильским кораблям выход в Красное море и в Индийский океан. По этому случаю Насер торжественно заявил: «Если Израиль хочет войны — Ахлан ваСахлан»¹⁴⁹.

В те дни каждодневно радиоголоса доносили то громкие похвалыбы арабского радио, то заявления Хафеза Асада, сирийского министра обороны и будущего президентадиктатора, то громкие, кроваважные выступления египетского лидера Насера. «Если разразится война, она

будет тотальной и ее цель — уничтожение Израиля», — заявил Насер в конце мая, а еще через несколько дней пообещал «сбросить евреев в море, уничтожив их как нацию».

В эти трагические дни израильский министр иностранных дел Абба Эбан совершает отчаянный визит к главным на тот момент союзникам Израиля: в Париж и Вашингтон. Но и Шарль де Голль, и Линдон Джонсон призывают Израиль проявлять сдержанность. А в это самое время Советский Союз заявляет, что в случае, если Израиль начнет войну, он вмешается на стороне вооруженных им арабов. Евреи оказались почти так же одиноки, как во время Холокоста.

Ни папа, ни Лёня не могли знать тогда — это откроется лишь много позже, — что еще в апреле неофициально, а 13 мая в письменной форме правительство СССР передало египтянам официальное уведомление о том, что Израиль готовит нападение на Сирию, сконцентрировав свои войска на северной границе — тем самым Советский Союз фактически подталкивал Египет к войне. Не только подталкивал — советские спецслужбы находились непосредственно в египетской и сирийской армиях, в Египет и Сирию продолжало поступать советское оружие. А много лет спустя, уже в новое время, Леонид прочитал, кажется у Георгия Арбатова¹⁵⁰, — уезжая у Израиль, большую часть книг он оставил в квартире на Кутузовском и не мог проверить, — будто и планы арабского наступления разрабатывали в советском генштабе. Спесивые генералы-милитаристы уверены были в своей непогрешимости и в своем превосходстве. Они планировали долгую позиционную войну и высадку советского десанта, которая все должна была решить — и пришли в ярость, когда события стали развиваться не так. Совсем не так...

22

Пятого июня, когда неискушенным людям казалось, что положение Израиля почти безнадежно — оставалось только уповать на чудо и на не очень храбрых американцев, — израильские самолеты, не замеченные ничьими радарам, совершив полет над Средиземным морем, с севера и с северозапада, а не с востока, как ожидали египтяне, обрушили на египетские аэродромы смертоносный бомбовый груз. Было ровно 7:45, время пересменки, когда египетские летчики завтракали в столовых и когда в небе у беспечных египтян не оказалось даже патрульных самолетов. В считанные часы израильская авиация уничтожила более трехсот египетских самолетов, поставленных из СССР, а к вечеру того же дня, и две трети сирийских, добившись полного господства в воздухе.

Лишившись прикрытия сверху, видимые в пустыне как на ладони, египетские сухопутные войска под натиском израильских дивизий почти сразу дрогнули, а на второй день обратились в беспорядочное, паническое бегство. Всего четыре дня потребовалось израильтянам, чтобы дойти до Суэцкого канала. Дорога на Каир оказалась свободна. Египетские войска, застрявшие на Синае, тысячами сдавались в плен, сотни и тысячи солдат, оставленных своими офицерами, толпами брели через пустыню и умирали от жажды, сотни танков, брошенных экипажами, достались израильтянам.

В те же дни израильские войска освободили Иерусалим и вошли в Старый город, где сотни солдат пали на колени у великой еврейской святыни — Стены плача, перед которой иорданцы устроили грандиозную свалку. И взвился над святой, древней Стеной белосиний, со звездой Давида, флаг, и протрубил вечный еврейский шофар¹⁵¹. И солдаты плакали от счастья...

На пятый и шестой дни войны, перебросив часть сил с Синая, израильтяне далеко отбросили сирийцев, заняли Голанские высоты и вошли в Кунейтру. Так же, как на Каир, путь на Дамаск был открыт. До сирийской столицы оставалось несколько десятков километров. Но израильтяне вынуждены были остановиться. Советский Союз объявил, что, если Израиль не прекратит военные действия, он «не остановится перед принятием мер военного характера».

Ярость советского руководства от этой победы Израиля была так велика, что Советский Союз, а за ним и все страны-сателлиты, кроме фрондирующей Румынии, объявили о разрыве дипломатических отношений с Израилем.

23

Они — не смирились с этим поражением. Ни опозорившиеся арабы, ни советский коллективный диктатор. Ненависть и злоба — чувства не проходящие...

Через шесть лет в праздник йомкипур началась новая арабоизраильская война, она так и называлась, «Судного дня». На сей раз эффект внезапности использовали арабы, но снова проиграли. Война Судного дня продлилась втрое дольше Шестидневной, победа досталась Израилю нелегко, большой кровью и, что называется, «по очкам». От нового разгрома Египет и Сирию спас Советский Союз. Он же, Советский Союз, и вооружил заново своих арабских едва ли союзников, но протеже, оторвав миллиарды рублей у рязанских и тверских, отнюдь не слишком богатых мужиков. И снова, как и в прошлый раз, Советский Союз вмешался в конфликт, направив группу кораблей с десантом в ПортСаид¹⁵². И снова мир, как в дни Карибского кризиса, оказался у грани ядерной катастрофы¹⁵³.

«Однако зачем они снова вооружали арабов и грозились послать войска? — вспоминая, в который раз размышлял Леонид Вишневецкий. — Ради чего? Из противостояния с Америкой? Или из непонятной, ненормальной, патологической ненависти к Израилю и евреям?»

Если это была геополитика, то совершенно иррациональная, безнадёжная геополитика. Это стало ясно вскоре после войны Судного дня, когда состоялись исторический визит Анвара Садата в Иерусалим¹⁵⁴ и переговоры в КэмпДэвиде¹⁵⁵. А вслед за тем Анвар Садат повернулся спиной к СССР и Египет на десятилетия стал главным клиентом США на Ближнем Востоке. А деньги за советское оружие так и не вернул.

Между тем советское руководство почти до самого конца продолжало ненавидеть Израиль и бороться с сионизмом. Борьба с сионизмом, то есть с Израилем, все больше превращалась во всемирный позывной, в не слишком тайный опознавательный знак новых антисемитов, в идею фикс...

24

Приезжая в ТельАвив — еще в то время, когда жили в Москве — Леонид любил с Валечкой, а иногда и сам, гулять вдоль моря по набережной Айякон. С одной стороны, за широким песчаным пляжем, где всегда было много народа, ласково плескалось море — бесконечное, вечное, которое видело и корабли Хирама¹⁵⁶, привозившие огромные кедры на строительство Первого Храма, и шхуны римлян и византийцев, на которых евреи покидали родину, и быстрые лодки пиратов, и флот сеявших смерть крестоносцев, и турецкие фелюги, и корабли Наполеона, высадившегося в Акко, и английские дредноуты, преграждавшие путь возвращавшимся из галута¹⁵⁷ евреям, и истерзанные, израненные временем и штормами старые посудины, перевозившие в Страну выживших в катастрофу из разоренной, лежавшей в руинах Европы, а по другую сторону набережной выстроились новенькие, с иголочки, блистающие роскошью красавцыотели — по вечерам там играла музыка и прохаживались породистые, уверенные в себе мужчины во фраках и дамы в вечерних платьях, цвет Уоллстрит и лондонского Сити, приехавшие почтить родину предков, и свою, где бы они ни жили.

На набережной почти нет скамеек, зато каждое утро кто-то приносит и ставит у парапета пластиковые стулья и кресла.

Леонид Вишневецкий, отыскав свободное местечко, любил устроиться в тени и смотреть на море — шепот прибоя не долетал до него, он различал лишь пенные барашки волн, зато здесь очень хорошо было размышлять.

Отчего *они* так ненавидели еврейское государство? Почему так рьяно стояли за арабов? За симпатизировавшего Гитлеру Насера? За племянника муфтиягитлеровца АльХусейни¹⁵⁸? Юдофобство?! Но едва ли только юдофобство.

Леонид никогда не мог понять. В советской политике не было видимой логики. Чтото ненормальное, болезненное, чрезмерное. Мечтали, что Египет и Сирия примут *их* социализм? Станут загонять крестьян в колхозы? Или — любой ценой уязвить Америку? Наверное, но не только, чтото нутряное, глубинное. Подсознательные комплексы. Тут психоанализ требуется, Фрейд...

...Борьба с сионизмом... Чем больше *они* проваливались, чем пустее становились полки, чем меньше оставалось веры в коммунизм, тем более рьяно боролись *они*

с сионизмом. Оказалось, выгодное дело. Возникло целое антисиионистское лобби: пропагандисты, военные, бесталанные ученые, журналисты, писатели. На борьбе с сионизмом стали делать карьеры, диссертации и деньги... Писаки... Юрий Иванов из ЦК¹⁵⁹, Евсеев¹⁶⁰, Бегун¹⁶¹... Бегуна даже в аппарате ЦК хотели завернуть, но нашлись покровители... Машеров... Русская партия в Политбюро¹⁶²... Русское движение писателей¹⁶³...

...Страшная партийная тайна. Больше, чем деньги партии в швейцарских банках. Больше, чем сотрудничество Ленина с врагом, а ведь он был агентом германского влияния... Но главная тайна — в другом... Ленин, *их* все, красный идол — и вдруг на четверть еврей. Вездесущая Мариэтта Шагинян раскопала деда Бланка... Доктор Бланк¹⁶⁴... Еврей, хоть и крещеный... Тотчас злорадно растеклось по всей Москве... «Внук еврея и калмыцкой рабыни», — но это уже в новое время.

История знает немало анекдотов. Както Сталин пригрозил Крупской, что если она не перестанет возражать против генеральной линии партии, то есть против его, Сталина, линии, партия вместо нее назначит женой покойного Ленина Стасову¹⁶⁵. Та не станет возражать, она понимает партийную дисциплину... Партия все может... Ей одинаково подвластны и будущее, и прошлое...

«И тут партийная линия, — усмехнулся Леонид. — Назначат русскую невыразительную Стасову, а не действительную любовницу с еврейской фамилией, соблазнительнейшую Арманд».¹⁶⁶

Но не только Ленин. И Андропов тоже. Еще одна страшная кремлевская тайна. Они так боролись с сионизмом, а тут... Вроде бы фамилия матери Флекенштейн. То ли приемная дочь, то ли этническая еврейка. Но воспитывалась в еврейской семье. И с отцом вроде не чисто. Какие же должны были быть комплексы. Из таких, затравленных, и выходят Торквемады¹⁶⁷.

А жена Брежнева. Хотя едва ли. Дети — оба — любили выпить. Однако то ли во Франции, то ли в Америке встречали с плакатами: «Виктория! Отпусти свой народ!». Она, правда, решительно открещивалась... Жене генсека не пристало быть еврейкой... Парадоксальные игры для верных ленинцевинтернационалистов.

Пожалуй, не только юдофобство. Не доверяли оттого, что евреи любили Израиль. Что другие евреи, с такими же фамилиями, жили в США. Как же... Только их любить. Они издевались, но требовали в ответ любви. Они же коммунизм строили. Не для себя одних, для всего человечества. Избранные. Особенные. Ради всеобщего счастья... Не догадывались, кто есть на самом деле... Они всегда не просто так — из любви к прогрессивному человечеству рас-

стреливали из орудий Будапешт, давили танками Прагу... Они — старшие. Главные. Носители истины...

Кто-то написал, кажется, в «Вехах», что их любовь очень быстро обращается в ненависть. Так и вышло. Их интернационализм очень скоро превратился в шовинизм. Потому что не могут малые народы верить так же, как большой. Тут, пожалуй, юдофоб Шафаревич прав: у малого народа — своя культура, своя история, свой язык, свои предки... И даже если он все потерял, все забыл, остается что-то ещё, мистическое, тайное... Голос крови... Родители, последние оставшиеся слова...

Леонид Вишневецкий изредка вспоминал как в детстве, когда он болел и ему было плохо, мама прижимала теплую руку ко лбу и шептала: «Вэйтэки з'мир». И он догадывался, что это значило «боже мой». И отчего-то ему становилось лучше. И это хотели отнять? Детство, маму. Чтобы он все забыл. Ненавидели Израиль за то, что евреи считали его родиной? Что в Израиле строили иной социализм, не сталинский, что пошли не *и х* путем? За то, что мыслили иначе? А *они* не терпели инакомыслия...

Уже в другое время, когда Грузия использовала израильские беспилотники, дроны, Россия обиделась, хотя никто ничего не нарушал, никакое международное право. Просто потому, что Грузия — маленькая, и Израиль маленький, а Россия — большая...

А простые люди? Одно время Леонид подрабатывал в хозрасчетной поликлинике, и вместе с ним работала медсестра, Анна Ильинична, очень даже сердечная, разговорчивая женщина. Любила похвастаться, как хорошо они с мужем жили в Египте. При Насере он служил военным советником. Рассказывала, сколько накупила она ткани для гардин, сколько шелка, тюля, дешевого золота. Египет казался Эльдorado — в Союзе везде стояли очереди, дефицит. А главное, что привезли много чеков для «Березки». О тряпках она могла говорить часами, а что муж ее готовил Египет к войне с Израилем, это не приходило ей в голову. Вернее, было безразлично.

Или полковник, летчик, тоже служивший в Египте военным советником. Скорее всего, между двух войн, но может и воевал, о Египте они не говорили. Полковник был на редкость гостеприимный, доброжелательный и веселый человек, что называется, рубахапарень. Жена полковника помогла Леониду устроиться совместителем в хозрасчетную поликлинику — в советское время это было очень хлебное место. И Леонид ходил ее благодарить с Валечкой.

С полковником они пили водку, жарили шашлыки, и еще полковник очень здорово пел и играл на гитаре. Судя по всему, и он привез из Египта немало чеков...

Да что чужие. Валечкины родственники ездили на работу в Сирию уже в новое время, в девяностые, когда Россия лежала в руинах. Дома работы не было, и муж Валечкиной двоюродной сестры Светы, инженер, завербовался в Сирию трудиться на военном заводе. Делали там какие-то детали для ракет, чтобы доставлять ОВ¹⁶⁸ — Леонид не вдавался в подробности, он мало в этом понимал. Зато запомнил, что платили по несколько тысяч долларов в месяц.

Когда настало время ехать домой, Светина мама иззвонила: просила встретить в Шереметьево, мол, они не знают Москву, очень много вещей и ночевать им негде. Вещей и в самом деле оказалось дико много: чемоданы, огромные клетчатые сумки — с такими тогда ездили челноки, — большущие баулы, просто узлы — Света все, что можно, везла из Сирии. Опять же портьерные ткани, обувь, золото, какие-то шмотки на продажу, так что едва разместились в маленьком «БМВ».

Потом, когда Валечка потчевала их пирогами и они хвастались, показывали вещи — хоть что-то для приличия подарить не приходило им в голову, — Леонида сильно подмывало сказать: «Вы ведь работали на наших врагов. Дети собираются в Израиль, и мы с Валечкой тоже поедem — на встречу с вашими ракетами. А вы все деньги, все тряпки...»

Но он промолчал. Да и что с них взять — не евреи. Что им Израиль? Мещане, как когда-то говорили. Когда-то Валечкины родственники — другие — очень помогли Леониду. Приходилось терпеть.

25

После шестидневной войны началась не только новая история государства Израиль, в течение нескольких дней превратившегося в региональную сверхдержаву, но и новая история советских евреев¹⁶⁹. Блистательная победа на Ближнем Востоке вызвала небывалую эйфорию и гордость у сотен тысяч людей, тайно слушавших радиоголоса и — не верующих, но скрытно молившихся за своих солдат, за еврейских мальчиков и все больше ненавидевших чужую, враждебную им, скудоумную власть — в СССР начался подъем еврейского движения. Сначала сотни, а потом и тысячи людей стали добиваться права на выезд в Израиль. Параллельно росло и ширилось движение отказников¹⁷⁰. В больших городах, где было много евреев — в Москве, Ленинграде, Риге, Одессе, Тбилиси, Киеве — возникли кружки по изучению иврита, улыпаны¹⁷¹, самые смелые выходили на демонстрации, писали письма в ООН, еврейское движение взаимодействовало с почти параллельно возникшим движением диссидентов, с хельсинкскими группами¹⁷², издавали самиздатовские журналы¹⁷³, проводили конференции¹⁷⁴, спорили между собой «политики» и «культурники»¹⁷⁵ — «евреи молчания»¹⁷⁶ превращались в «евреев надежды»¹⁷⁷.

В то время Леонид жил в провинции, где евреев было мало, да и те — солидные, осторожные люди: профессора, институтские преподаватели, врачи, учителя, инженеры. О еврейском движении, об отъезжающих, он слушал только по радиоголосам, да изредка, пока папа был жив, узнавал от него о закрытых письмах ЦК и от соседа Гольдмана. Тот переживал, что из-за начавшейся еврейской эмиграции его могут выгнать из Крайисполкома. Сам же Лёня учился и занят был собственными делами, да и потом в Москве, в аспирантуре, он жил в другом мире, не еврейском. Далеко. Он переживал и симпатизировал отказникам, но долгое время никак с ними не пересекался. Одним словом, Бог его хранил, а может наоборот, за что-то наказывал. На землю обетованную предназначен ему был иной путь, кружной, долгий...

26

Коечто особенное, удивившее его, Лёня запомнил из того времени — на всю жизнь. Радиорассказ про студента Казакова; он ведь и сам был в то время студентом. Но тот, Казаков, через несколько дней после победы, 13 июня, подал заявление в ОВИР об отказе от советского гражданства и о желании выехать в Израиль. Не получив ответа, неугомонный Казаков обратился в Верховный Совет. И опять — тишина. Но он писал и писал, в том числе генсеку ООН и — двух лет не прошло, как свершилось чудо: словно Чермное море¹⁷⁸ расступилось — красные фараоны, ненавистники Израйля, отпустили Казакова. Именно в то время, кажется, услышал Леонид по «Голосу Америки» цитату из Виктора Некрасова о том, что система дряхлеет.

Да, система не была больше столь твердокаменной, как прежде. Леонид уже на три четверти жил в Москве, был март 1971 года, когда узнал про коллективную голодовку сразу ста пятидесяти евреев, приехавших из девяти городов. Они заняли приемную Президиума Верховного Совета в самом центре Москвы и требовали пересмотреть их дела и дать разрешение на выезд. Леонид специально ходил на угол Маркса и Калининского проспекта: посмотреть, а может и пожать кому-нибудь руку — Москва была Леониду еще внове, и он любил гулять пешком, он еще чувствовал себя покорителем столицы полумира, — но снаружи ничего не было

видно, только стояли милиция и люди в штатском. «Так и империя, — думал он сейчас, — снаружи казалась крепка и монолитна».

И все же — система дряхлая: на второй день голодовки приехал министр внутренних дел Щелоков, самый либеральный из *них*, тот самый, который «прославится» позже благодаря Андропову и пустит себе пулю в висок¹⁷⁹ — царедворец пообещал пересмотреть все дела. То был редкий случай, когда *они* сдержали обещание. Через два месяца почти всем разрешили уехать.

Вслед за этой грандиозной демонстрацией голодовкой состоялись новые — на Центральном телеграфе. Сначала двадцати пяти евреев из Литвы, а через месяц — тридцати двух из Грузии¹⁸⁰. А дальше — Киев. В Бабьем Яре, «над которым памятников нет, но лишь сплошной беззвучный крик», в траурный день разрушения Храма 9го ава¹⁸¹ голодали уже киевские евреи. Требование было все то же: разрешить выезд в Израиль. Но, пожалуй, самое главное, что запомнилось из тех дней — самолетное дело¹⁸². Трагическая, безнадежная, почти безумная попытка захватить самолет — в то время угоны стали входить в моду¹⁸³ — и встречная хитроумная провокация властей. Власти, органы все знали, но позволили разыгаться трагедии, чтобы потом судить, приговорить к смертной казни¹⁸⁴. И вслед за этим судом, над «самолетчиками», покатались по стране показательные процессы¹⁸⁵, напомнившие «дела» ЕАК и врачей. То был очередной пик антисемитизма: месть не отдельных людей, но — *системы*. И ответно, громко — Брюссельская конференция еврейских общин в семьдесят первом¹⁸⁶...

27

Папа оказался идеалистом. Он был очень умный, все знал, все понимал — не хуже, чем Эренбург, книгу¹⁸⁷ которого папа несколько раз перечитывал, с которым както встречался и даже обсуждал возможное будущее и природу сталинизма, а все равно оказался идеалистом, романтиком. Оттепель вскружила ему голову, Двадцатый съезд. Папа, видно, как ни странно, но все еще верил в социализм... С молодости верил. Потому и пошел на философский. Читал запрещенные книги: Чаянова¹⁸⁸, Бухарина, Каутского¹⁸⁹, Троцкого, Бердяева, Преображенского¹⁹⁰ — пытался определить, где была совершена роковая ошибка. Но больше, наверное, размышлял. У папы было очень важное преимущество: он собственными глазами видел НЭП, голодомор на Украине, индустриализацию, плоды коллективизации, сталинскую политику. Он очень хорошо понимал *систему*, знал ее слабые места, но просчитался. Наверное, просто потому, что очень хотел верить...

...Папа слишком долго писал свою книгу. Не раз начинал и бросал. Скорее всего, папа догадывался, чем эта книга может закончиться. Так долго не решался, собирался, думал, писал проходные статьи, что пропустил момент. А может, хорошего момента никогда и не было. Закончил как раз после Праги, когда советские танки раздавили надежду, когда реформам послали стопсигнал и провозгласили доктрину Брежнева¹⁹¹.

Лёня помнил, как папа радовался «Ивану Денисовичу»¹⁹² и переживал изза Синявского и Даниэля¹⁹³. Лишь много позже он догадался: папа не только изза них переживал — Синявский и Даниэль служили барометром; папа на себя их примерял. Когда начался процесс, он понял: опоздал. У Солженицына был один шанс из тысячи, он чудом состоялся.

В шестьдесят пятом, кажется, папа ездил в Харьков к Либерману¹⁹⁴, обсуждал реформу. Вот тогда он, вероятно, и решился. Все уже было выношено, созрело, созрело.

Много позже — папы давно не было в живых — Леонид попытался разобраться, что за косыгинская реформа, придуманная Либерманом. В тонкостях он, конечно, так и не разо-

брался — не экономист, да и терпения не хватило, — но главное понял. Экономика социализма — системато выдуманная, умозрительная — не выработала стимулов для инноваций, для повышения производительности труда. Директора предприятий вместо того, чтобы расширять производство, стремились занизить план. Так вот, это была попытка внедрить в плановую экономику какие-то рыночные начала. Не до конца, система оставалась незыблемой, частная собственность попрежнему находилась под запретом, но хоть что-то. Дать больше самостоятельности предприятиям, уменьшить число показателей, сделать более гибким ценообразование. А заодно отменить хрущевские совнархозы, выстроив отраслевую вертикаль. Словом, изменить кое-что, мало что меняя в принципе. Децентрализовать, сохранив централизм, то есть командноадминистративную систему. Выходила весьма ограниченная реформа, но и она позволила сделать рывок. Восьмая пятилетка оказалась самой удачной. Однако реформу свернули. Тут все сошлось: сопротивление системы, раскол в научном сообществе, ревность к Косыгину Брежнева, военные расходы — они и задушили негибкую советскую экономику, — а может, пражская весна. Ортодоксы испугались и решили: никаких реформ.

Пятнадцать лет спустя Горбачев попытался использовать опыт косыгинской реформы, но оказалось поздно, да и начал он не с того конца. Показал себя неподготовленным человеком. Выходило, что агония советской системы началась в семидесятом году. А может, и раньше, со смертью Сталина. Никакой альтернативы командноадминистративной системе не нашли. Да и искали не очень. Сталин умер, ослабел страх — и система развалилась.

Так вот, папа вознамерился придумать политические подпорки либермановско-косыгинской реформе. Нет, никогда папа так не говорил, но, наверное, думал. Хотел реформировать социализм. А может, лукавил. Надеялся, «только бы начать, а там пойдет. Процесс *о н и* не остановят». Изучал роль западных профсоюзов, опыт шведских социалдемократов. Отшельник, читавший на немецком по ночам привезенные *оттуда* книги, слушавший радиоголоса.

В сущности, десятилетием с лишним позже Чубайс и Гайдар делали почти то же: собирались, изучали чужой опыт, готовились к часу Ч¹⁹⁵. Но, похоже, чего-то недоучили...

Вскоре после папиной смерти Леонид прочел его книгу. То есть книги никакой не было: черновики. Если вдуматься, папа предлагал не так уж много, паллиатив: альтернативные выборы в партии и в Советы — при однопартийной системе, усиление роли профсоюзов и трудовых коллективов, развитие самоуправления, кооперацию в сельском хозяйстве, расширение гласности, ограничение цензуры и очень робко — мелкую собственность. Слишком мало, чтобы спасти страну, но *им* и этот набор показался настоящей революцией, вернее, контрреволюцией, угрозой социализму. *Их* социализму.

Система к тому времени работала с перебоями, мучительно. И в системе были самые разные люди. В шестьдесят седьмом, вскоре после Шестидневной войны, кто-то папу одобрил. Потом молчание длилось целый год. Если бы фамилия папы была не Клейнман, книга могла проскочить, папа ведь все очень тщательно упаковал в обертки марксизмаленинизма, замаскировал цитатами, да может это и был марксизм, но *т а м* насторожились. Папе донесли, что кто-то сказал, какой-то Бородулин: «Что им все нейдет? То Либерман перебаламутил все, то теперь Клейнман. Кроме *н и х*, нет марксистов?» Рукопись пошла еще дальше в ЦК, в идеологический отдел — этот Бородулин знал кому положить, — а там как раз после Праги, после августа¹⁹⁶ были настроены решительно против. Флюгер указывал на «холодно». Да и, — рассказывал папа, — относительно либермановско-косыгинской реформы в верхах тоже шла ожесточенная борьба: в правительстве и в Госплане вроде были за, но в ЦК — против. И, как почти всегда, догматики взяли верх.

Словом, папа попал под раздачу. Книгу печатать запретили. И, поскольку книга была уже набрана в краевой типографии с благословения местных, ее немедленно рассыпали. Лишь два экземпляра осталось у папы, пробных, но после папиной смерти Леонид их не нашел. Папа, видно, на всякий случай эти экземпляры спрятал.

Система была уже не сталинская, но муторная попрежнему, лицемерная и тупая — на бюро крайкома папе вынесли строгий выговор со странной формулировкой: «за нарушение партийной этики». В чем нарушение, никто не объяснил, взяли первое, что пришло в голову. Не самая плохая формулировка, относительно мягкая, выполняли указание сверху.

Папу больше всего возмущало, что на бюро выступали все хорошо знакомые люди, иных из них он знакомил с основными положениями книги и они все вроде одобряли, поддакивали, говорили «давно пора», особенно второй, молодой, решительный с виду — на него в партии возлагали особые надежды, этот был совсем не сталинец, краснобай краевого масштаба, рубахапарень, выходец из народа, бывший комбайнер, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, выпускник МГУ — теперь же все осуждали, и главный среди них, этот второй, потел, краснел, отирал пот с лысины, и родимое пятно на нем багровело. Вот онто и придумал формулировку, а главный довод: «несвоевременно». Нельзя такое после Праги. Все видят, к чему это ведет. Как только начинаются разговоры о демократии, о Сталине, тут же жди идеологической диверсии.

Выходило, что отец — идеологический диверсант. А сам не так давно встречался с Млынаржем¹⁹⁷ и говорил папе: «Очень дельный, очень толковый человек. Они сейчас, пожалуй, идут впереди нас». Подразумевалось, что он за обновление социализма, за еврокоммунизм — нормальный мужик, не догматик, а вот на бюро, под приглядом сверху...

Двурушничество папе паяли. Старое, полузабытое к тому времени слово. Папа, конечно, хитрил. Писал одно, а в уме держал другое. О большем думал. Мечтал... Но онто только думал. А *они* — вот где настоящие двурушники. Первый — тот только и мечтал, как бы вернуться в Москву. Погорел на том, что колебался слишком долго и не накинулся вовремя на Хрущева. А тут папа... Не злой человек, ему было все равно... Его не социализм интересовал. Москва. Старая площадь. Типичный партийный флюгер...

А папа очень сильно переживал. Лёня удивился:

— Ты же знаешь, кто *они*. Ну и черт с ними. Плюнь.

Папа ничего не ответил. Только посмотрел очень внимательно и грустно. О чем он думал? С мечтой расставался, с надеждой. Всю жизнь свою переживал?

Для Лёни это был очень важный урок. Не нужно метать бисер... Все кругом лицемеры. И чем выше, тем больше. Отнюдь не герои — не то время. «Несчастливая страна, которая нуждается в героях», — вспомнил мудрые слова Брехта.

Ночью у папы случился тяжелый инфаркт. Папа прожил еще полгода, перед смертью даже вышел на работу на несколько дней. Папу все время преследовала мысль, что крайкомовские лицемеры ищут ему замену, хотят посадить на кафедру когонибудь дубового, ортодокса, да хоть бывшего слесаря доцента Головню, лишь бы отчитаться перед всеильным Трапезниковым¹⁹⁸.

Накануне второго инфаркта папа сказал:

— Мне рассказывал Дубов: в Америке уже несколько лет как делают операцию аортокоронарного шунтирования. Там бы я мог еще пожить. А здесь...

— Но ты же неплохо себя чувствуешь? — с тревогой и с надеждой спросила мама.

— Да, неплохо, — отвечал папа. — Но никто не знает, что будет завтра.

Через несколько месяцев после папиной смерти, в августе шестьдесят девятого, Лёня поехал в гости к тете Соне. Дедушка давно умер, через год или два после его смерти тетя Соня неожиданно вышла замуж за инвалида войны, поляка Яна, электрика, много ее старше, и почти в сорок лет родила дочку. Увы, скоро она овдовела — тетя писала, что Ян умер изза ошибки врачей, вовремя не положивших его в больницу и доведших до сепсиса изза воспаления ста-

рых ран, и она одна поднимала свою дочку, белокурую, очень славянского вида, голубоглазую Катеньку. Жила тетя Соня нелегко, но, однако, приспособливалась и крутилась. У нее оказался особый талант: тетя Соня почти не выходила из дома, но при этом имела множество друзей и знакомых, могла достать любой дефицит, иногда приторговывала — даже папа, бывало, просил ее достать хрустальную вазу или сервиз, — но больше тетя Соня зарабатывала шитьем. Портниха в городе она была известная, хотя шить научилась годам к тридцати, когда папа помог ей купить швейную машинку. Тетя Соня писала, что к ней стоит длинная очередь, на несколько месяцев. Иногда, пока он работал в Ярославле, с заказами к тете Соне приходила даже жена самого Голубова...

В первый же день после приезда Лёня отправился проведать старых друзей Юру и Женю Макаровых и встретил у них Валечку — ту самую, внучку начмата. Валечка оказалась чудесно красива. Он и помнил ее красивенькой, куколкой с кудряшками и с волнующим голосом, но теперь это была стройная взрослая девушка с лучезарной улыбкой и ямочками на щеках. Зеленоглазая, белозубая, со смуглой нежной кожей мадонны, с прежними, запомнившимися с детства игривыми кудряшками. С очень маленькой, милой родинкой над губой, о которой еще Хафиз написал свою замечательную газель:

«Ради родинки смуглой одной,
Одного благосклонного взгляда
Я отдам Самарканд с Бухарой
И в придачу — богатства Багдада!»

Он ведь хотел ее увидеть. Надеялся, боялся и хотел. Так, по крайней мере, всегда потом казалось ему. Какieto неясные сны... Нет, он почти не вспоминал о ней в Ставрополе, много лет не думал о ней, но вот приехал и — захотел увидеть. Чтото вроде телепатии... Ведь и она... Он не знал почему. Просто красивенькая маленькая девочка. Куколка. Он помнил «юрей». Он тогда очень расстроился. Но Валечка была слишком маленькая и слишком красивенькая, чтобы принимать это всерьез. Он знал коечто про Валечку и про Валечкиных родственников — из писем тети Сони. Знал разное — и хотел ее увидеть. Это не было просто любопытством. Чтото другое. Мечта. Предчувствие...

Он увидел ее и — на несколько минут потерял дар речи. Любовь... Это всегда наваждение.

В тот день Лёня напросился ее провожать, и они прогуляли почти до полуночи. Луна, необыкновенно ясное небо, звезды, плывущие по Волге древние храмы, старинный театр, музыка в парке: все давно слилось, все возбуждало и влекло его к Валечке, он читал ей стихи — свои и Пушкина, Есенина, Лорки, Бернса, и она читала тоже, и он испытывал необыкновенное волнение от ее голоса, словно все блаженство мира, вся радость бытия слилась в ней, и был поцелуй, робкий, нежный, многообещающий, страстный; Лёня был так возбужден и счастлив — впервые со дня смерти папы, — что не мог уснуть до утра, всю ночь грезил Валечкой — видел то ее улыбку, то изящные, легкие девичьи груди, то стройные ноги, — а утром, не позавтракав еще, выбежал из дома и принялся звонить ей. Ему нужно было услышать ее голос...

Он потом думал: именно так все и должно было случиться. Настал момент, когда гормоны играют, когда тело созрело, когда душа открыта для любви. Именно в такой момент он встретил Валечку. Судьба. Его судьба оказалась счастливой. Звезды на небе располагались правильно.

Уже на третий день тете Соне все доложили про Валечку. Стараясь проявлять деликатность, она поинтересовалась:

— Очень понравилась Валечка Минина?

— Да, — слегка смутился Лёня, но решился быть откровенным.

— Хорошая девушка. На два курса младше тебя. Говорят, очень умненькая. Отличница. И дедушка у нее, ты его, может быть, помнишь? — начматом был, полковник в отставке, был очень приличный, уважительный, из интеллигентов. Всегда интересовался, как здоровье, как живем, не нужно ли чем помочь. Когда умер дедушка, выделил машину и про вашу семью спрашивал регулярно, привет передавал. Он папу очень уважал. Умер прямо на работе от инфаркта. — Тетя Соня понизила голос, как будто ее могли услышать. — Ты, наверное, забыл, что както в детстве Валечка сказала тебе: «юрей». Что, мол, юрей — это плохо.

— Она была маленькая, года три, — перебил Лёня. Стало неприятно, что тетя Соня помнит этот случай до сих пор. Ну, он, другое дело. Мало ли, что было в раннем детстве. Может быть, оттого, что она и тогда нравилась? Самая первая? Хотя... Все ведь возможно... На третьем курсе внимание Лёне стала выказывать Зоя Бастрыкина из параллельной группы. Подсаживалась на лекциях, затевала разговоры, всячески давала понять, что симпатизирует. Влюбилась? С чего вдруг? Он ей не поверил, хотя не был особенно проницательным. Но както постепенно сблизилась... Да, так вот, однажды они сидели в институтском кафе, и Лёня сказал ей без всякой задней мысли: «Ты очень похожа на Анастасию Вертинскую (портрет артистки замечательной красоты напечатан был с год назад в «Moscow News», и Лёня хранил его). Давай я буду называть тебя Анастасия!» «А я буду называть тебя Мойше», — неожиданно зло сказала Бастрыкина. Он так и не понял, на что она обиделась, но больше с Бастрыкиной не разговаривал.

...Да, все возможно...

— Да, маленькая, — согласилась тетя Соня. — От кого-то слышала... Неплохая семья. Кроме одного. Двоюродный брат у нее большая шишка, прохиндей. Василий Лисицын. Был секретарем горкома комсомола. Через каждое слово — «русский». «Мы, русский народ». «Мы, русские, победили». «Мы, русские, всех кормим». Будто кроме русских никого нет и другие не воевали. Написал книгу: чтото про войну, про комсомол, про сионистов... Будто сотрудничали с немцами. Я сама не читала, мне некогда, нужно о Катеньке думать, работать, но будто евреи плохо воевали, первые сбежали из Москвы, отсиживались в Ташкенте. Защитил кандидатскую диссертацию — на кафедре, которой папа когда-то заведовал. Потом Голубов забрал его в Москву. Слышал про Голубова?

— Да, слышал.

— Папе изза него пришлось уехать.

— Папа говорил: «Не хотел с ним иметь дело. Не хотел писать чужую диссертацию. А Голубову — особенно».

— Голубов точно антисемит. Мне даже жена его жаловалась. «Я, — говорила, — сама на четверть еврейка. По дедушке. Он еще при царе крестился. Так он не может мне до сих пор простить крещеного деда. А самто ведь из буржуев, из поповского сословия».

Както сказала мне: «Вот вы — трудящаяся еврейка. А в Америке все евреи — богатеи. Все против нас. Поджигатели войны. И с врачами все не так просто. Берия выпустил, заметал следы, а потом не до того было. Не стали разбираться. Не хотели во всем этом копаться, потому что неизвестно, куда бы это все привело».

— Папа тоже говорил, что не все ясно. Могли заставить, могли сделать все, что угодно. Возьми хоть историю с Фрунзе. Ведь его наверняка убили. И Плетнева с Левиным судили — им шили убийство Горького, но Горького, похоже, действительно отравили. И с Бехтеревым дело темное¹⁹⁹. Сталин крутил как хотел. Папа предполагал, что Жданову действительно могли помочь умереть, что Тимашук²⁰⁰, возможно, не виновата, она просто была затравленная, запуганная, одинокая женщина, там могло быть сразу много вариантов. Сталин был такой великий драматург и режиссер в одном лице, что никакому Шекспиру не приснится. Какой там Ричард

III. Сталин не просто убивал, он творил свои расправы с величайшей любовью к искусству, прямо с чувственным наслаждением. Маньяк! Параноик! Он получал от процесса такое удовольствие, так любил играть с обреченными, будто кошка с мышкой, что его самого, в конце концов, отравили, а если не отравили, то точно поспособствовали умереть. Тираны очень часто умирают не своей смертью. Вряд ли где-нибудь еще в мире скрыто столько тайн, как в Кремле или в подвалах Лубянки.

На этом разговор закончился. Тетя Соня не стала больше ничего говорить о Валечке.

30

Три недели пролетели как одно мгновение. Увы, нужно было расставаться. Предполагали, на несколько месяцев, но Лёня не выдержал и осенью прилетел на неделю. А на зимние каникулы встретились в Москве. Валечка остановилась у двоюродного брата, у того самого Василия Лисицына из ЦК. Лёня же — по благу — в гостинице «Бухарест».

Два года назад, еще при папе, он впервые ездил в Москву с однокурсниками. Вместе с ними прожигать жизнь отправился и Юра Мартиросов, известный в городе ловелас и гуляка, сын местного виноконьячного короля, — его отец, Иван Саркисович, руководил всей краевой торговлей алкоголем. Протекцией Ивана Саркисовича они тогда и воспользовались. Через Юру его могущественный отец передал две бутылки коньяка и пламенный кавказский привет Борису Семеновичу, главному гостиничному администратору, и тот щедро предоставил студентам два номера на две бурных недели. С тех пор, приехав в Москву, Лёня всегда шел тем же маршрутом: передавал привет от Ивана Саркисовича и вручал администратору бутылку пятизвездочного коньяка, благо последнего сколько угодно было у папы. Папа в рот не брал спиртное, разве что по особо торжественным случаям или когда отвертеться было совершенно невозможно, выпивал рюмку, зато почему-то по всем праздникам, а нередко и между праздниками, папе дарили коньяк и тот пылился на полках.

Иногда в хорошем настроении папа пытался описать витиеватые маршруты, по которым перемещались бутылки; логистику, сказали бы в наше время, но в шестидесятые такое слово еще не знали.

Итак, больные дарили коньяк врачам, те, выпив свою долю, передавали их кафедральным работникам, те — дальше, заведующим; доценты, профессора, а часто и просто соискатели, сдававшие кандидатский минимум, одаряли огненной жидкостью носителя высшей государственной теории, то есть папу, а он относил ее в огромный пятиэтажный дом на площади, смотревший в спину Вождю, олицетворявший могущество государства. И там, с этажа на этаж, бутылки с красивыми наклейками поднимались все выше, вплоть до Первого и еще дальше — в Москву. Наверное, не одни бутылки, но это много позже прогремело на всю страну статуэтки и вазы из чистого золота, ковры ручной работы из Дагестана, халаты и тюбетейки с золотым шитьем из солнечной Узбекской республики, да и много чего еще, но это все — потом, пока же время казалось почти платоническим.

Борис Семенович, принимая коньяк, просил передать привет Ивану Саркисовичу, «моему доброму другу». Очевидно, ему не приходило в голову, что серьезный студент, очень похожий на отличника, может быть самозванцем. Но, возможно, ему было все равно...

31

О, это были незабываемые каникулы! Культурная программа на всю оставшуюся жизнь. Билеты во все театры можно было заказать прямо в гостинице, и они с Валечкой каждый день посещали театры и музеи, кафе, рестораны и даже один раз хоккей. Но на хоккее, уставшие от

бурного времяпровождения, они заснули мертвым сном и проснулись только в самом конце, когда недовольная публика со свистом и гомоном покидала трибуны.

То было золотое время, начало застоя. В гостиничных буфетах еще водились грибочки-маслята и холодец, жульены, финский сервелат, красная черная икра и почти заморская, — из Болгарии и Молдавии — вкуснейшие пирожные к чаю и маленькие тортики, которые тут же нарезали и ели; в кафе «Московское» на улице Горького — правда, чтобы войти, нужно было отстоять часовую очередь — за смешные деньги подавали необыкновенное мороженое огромными порциями, украшенными так красиво, что жалко было прикоснуться и нарушить первозданную красоту; в кафе на Пушкинской площади, наискосок от нынешнего, попавшего под контрсанкции «Макдональдса», рядом с Домом актера кормили перепелиными яйцами, но больше всего запомнилось Леониду кафе «Охотник» на Маяковке. Както они с Валечкой заказали три блюда, но закуска оказалась настолько обильной, что они одолели ее с трудом и лишь едваедва прикоснулись к первому.

Лет пятнадцать спустя — уже при Андропове или Черненко, — Леонид с Валечкой отправились с сыном Сашей по «местам боевой славы», куда их влекла ностальгия, но воспоминания оказались совершенно испорчены: все было совершенно не то — приборы не меняли, скатерти не первой свежести, а порции настолько малы, что ушли совершенно голодные.

Кафе «Московское» посетили уже в новое время, ровно четверть века спустя. Зал оказался совершенно пуст, лишь за одним столом сидела случайная, явно не московская парочка, видно, не слишком богатая и в полной растерянности героически тратила деньги. Цены были настолько кусачие, что пришлось ограничиться бокалом вина.

Это была уже другая Москва, новорусская, шальная, бандитская, ельцинская. А в той, прежней, просыпаясь от живого боя курантов по утрам и видя Кремль за окном, за Большим Москворецким мостом — старинные башни с рубиновыми звездами в самом сердце великой страны, где словно оживала история — в той Москве, величественной и прекрасной, восьмисотлетней, Лёня мечтал жить. И Валечка тоже. Москва была как огромный магнит: с театрами, с Ленинской библиотекой, Третьяковкой, с Музеем Пушкина, с десятками институтов, с манящими перспективами, город мечты, город любви.

Лёня даже не подозревал, что осуществление его мечты так близко...

В те каникулы в Москве, в номере гостиницы «Бухарест» — там ныне пятизвездочный недоступный «Балчуг» — Лёня сделал Валечке предложение, и их губы слились в поцелуе — надолго, навсегда...

Потом они отправились в буфет — отметить. Лёня набрал кучу закусок, они пили вино, произносили тосты, шептали нежные слова, целовались, любуясь, смотрели друг на друга, словно видели в тот день впервые — о, как красива была Валечка в ореоле нежной своей женственности, как притягательна — он умирал от восторга и от гордости первой настоящей мужской победой; среди множества мыслей, пьяных, радостных, пробивалась главная: «А ведь это — любовь! Это и есть любовь!» — ему было так хорошо, что не хотелось спускаться на землю, но сквозь восторг и радость он услышал голос Валечки:

— Лёнечка, ты думал, где мы будем жить?

— Давай в Ставрополе. У меня намечается ординатура, ты переведешься к нам в институт. У меня мама спокойная, не будет нам мешать.

— Ладно, посмотрим... — только потом он догадался, что у Валечки созрел совсем иной план. Скорее всего, она этот план уже обсуждала.

...План этот оказался связан с Валечкиным двоюродным братом. Он, этот Василий, все мог. Лёне даже просить ничего не было нужно. Он и не просил никогда. С Василием он не был

близок. Чтото лежало между ними — разница в годах, в положении, в связях, в знакомствах, но, наверное, еще больше — статьи Василия, книги, может быть, диссертация, в которой он вовсю ругал сионистов, а может то, что Василий работал в ЦК, а значит — чужой, сталинец, наверняка сталинец. Хотя чем больше Леонид его узнавал — видел редко, всего несколько раз, больше от Валечки — тем больше казалось ему, что — флюгер. Человек без убеждений. Хотя и сталинец тоже, потому что все они — сталинцы.

Сталин и создал этот тип вместо ленинского интеллигентного фанатика — сталинский: малообразованный, малограмотный, чуть что — кулаком по столу, чуть что — мат или хуже того: расстрелять. Ванькамарксист, никогда не читавший Маркса в первоисточнике. Раб по натуре, хам, из кухаркиных детей²⁰¹, но напыженный и самоуверенный от этой своей всемирноисторической миссии.

Вот этого раннего сталинцахама со временем сменили другие. То был продукт эволюции — образованщина, у этих не было ни прежних убеждений, пусть и диких, ни прежней силы; имелись лишь прежний форс и бюрократическая выучка. Они — непогрешимые, они — партия, а партии можно все. Партия заменяла им все моральные установки, совесть и честь.

Только и этот сталинский тип со временем подвергся коррозии. Чем больше *они* в процессе эволюции приобретали культуру и образование, хотя и не слишком, тем меньше оставалось в них преданности и силы, но больше обнаруживалось верткости.

Вот и Василий. Он, скорее всего, принадлежал именно к третьему поколению сталинцев. Выходец из комсомола. Он и в ЦК сошелся с комсомольцами, с гвардией Железного Шурика²⁰². Конечно, не на первых ролях. Вот это, что не на первых, его и спасло — на время. После инцидента в Монголии²⁰³, а особенно после выступления Егорычева²⁰⁴, он понял, что нужно вести себя тише, отойти, держать дистанцию. Да и Голубов советовал, пока был жив. Василий старался, маневрировал, пытался найти покровителя, в какойто момент начал дружить с партийными либералами, но снова ошибся — те проиграли. Когда Яковлева за статью в «Литературной газете»²⁰⁵ отправили послом в Канаду, кто-то донес, и Василию сразу припомнили все: и болтовню Месяцева, и недоносительство, и поддержку Яковлева — словом, загремел Василий в Новосибирск.

Но это все позже было. Лёня учился уже в аспирантуре, когда лишился могущественного покровителя. Но и до того — никогда не просил. Они обсуждали с Валечкой, а Валечка шла к Светлане, жене Василия, вот уж светлый, легкий, доброжелательный человек. Очень любила Валечку. Валечка ей как младшая сестричка. Светлана и говорила мужу и тот все делал беспрекословно... Впрочем, Василий и сам любил сестричку. Валечку все любили.

33

Накануне отъезда Валечка пригласила Лёню к Лисицыным. Она, похоже, уже все обговорила, только не сказала Лёне. Так что ему оставалось лишь познакомиться с будущими родственниками.

— Ты только не начинай с Васей разговор о политике, — попросила Валечка. — А если он начнет сам, старайся не спорить. У них там в ЦК не тишь и гладь, постоянные склоки. Вот Вася и нервничает. Не знает, к кому приткнуться. Думал, Шелепин победит, а оказалось — недалекие люди. Неумные.

— Хорошо, — сразу согласился Лёня. — Можно потерпеть. — Любопытно было, как там происходит, в этой тайная тайных, что *там* за люди, как готовятся *и х* вечера, от которых сотрясает весь мир, кто и с кем перетягивает

т а м канат, но — потом, он еще успеет. Пока не до того было. Все же ЦК...

...И вот он на Кутузовском. Дом как дом, восьмиэтажный, кирпичный, серый, темный в ранних зимних сумерках. И во дворе — метет, свистит; к реке, едва не цепляясь за голые, похожие на привидения, деревья, сползают низкие, унылые облака. Неприютна, темна столица полумира. Не для людей.

Подъезд как подъезд, только сонный милиционер в будке — шутка ли, в соседнем доме в это время вечерает генсек. И квартира как квартира: просторная, хотя и трехкомнатная, в гостиной стоит «Мираж» — на такие гарнитуры, Лёня видел, писалась длинная очередь в мебельном магазине. Валечка на мгновение обнялась со Светланой, а вот и сам — Василий Илларионович в заморском спортивном костюме.

После выпитых походя парочки рюмок коньяка Лёня почувствовал себя как дома: прекрасные родственники, теплые люди. Культурные. Собрания сочинений один к одному. Рядом с Лениным — «ИМКАпресс» и «Посев», Солженицын и Синявский с Даниэлем.

«Ради того сели, чтобы их читали в ЦК КПСС. Или, скорее, для полнок», — неожиданно подумал Лёня.

— Противника надо знать в лицо, — важно пояснил Василий Илларионович. — Кстати, и отца вашего читал. Интересная книга. Григорий Маркович Клейнман, так, кажется?

— Так, — подтвердил Лёня.

— Умная книга, но несвоевременная. После Праги... Тогда и реформу свернули... Потопился ваш отец лет на двадцать. Это, знаете как, отпустить вожжи легко, а затянуть обратно — ох, тяжело... Вы думаете, классовая борьба закончилась? Боятся отпустить вожжи. И правильно делают. Народ... Это в теории народ — двигатель истории. А по жизни — несознательный, дурной...

«Это он, может, и забраковал папину книгу», — мелькнула вдруг смутная догадка, но Лёня промолчал.

— Я ведь защитил диссертацию на кафедре, которой раньше заведовал ваш отец, — продолжил Лисицын. — «Советский народ как многонациональная общность в годы Великой Отечественной войны».

«Вот откуда ноги растут, — опять подумал Лёня, начиная испытывать к Василию некоторую тайную неприязнь. — Вот откуда евреи оказались в Ташкенте. Многонациональная общность... Русские, значит, одни... А как насчет депортаций?»

— Еще люди остались, которые вместе работали, — продолжал Василий Илларионович. — Ни одного плохого слова не слышал. Только хорошее.

«А ведь врет, — подумал про себя Лёня. — У папы там не все было гладко. Оттого и уехал. Не из-за одного Голубова», — Василий больше не нравился ему. Чужой. Один из *них*. Лицемерный. Лицо, однако, это Лёня чувствовал, расплывалось в пьяноватой улыбке.

— Красивая у вас фамилия, — продолжал между тем Василий Лисицын. — Красивая. А главное, правильная. Почти. Славянская. Мудрый человек был ваш отец. Верно понимал марксизм-ленинизм.

«А он не без юмора», — отметил про себя Лёня, смягчаясь, и снова молча кивнул.

За столом после нескольких рюмок Василий Илларионович, он же Вася, преобразился:

— Вот скажите мне, куда мы идем?

— Куда мы котимся, как говаривал наш знаменитый генерал Книга²⁰⁶, — спяну ляпнул Лёня.

— Вот именно, куда мы котимся? — подхватил Лисицын. — Захожу я, значит, в туалет в ЦК...

— Вася, рано еще о туалете, — забеспокоилась Светлана.

— В самый раз. Я без пошлости. ЦК, вы представляете, организация серьезная, можно сказать, наиважнейшая. Сакральное место. Как храм. И люди ходят в ЦК непростые. Дирек-

тора, профессора, академики, работники идеологического фронта, писатели... И вот: стишки на стене. Прямо над толчком. Комуто же понадобилось написать:

«Писать на стенах туалета,

Друзья мои, не мудрено.

Среди гвна мы все поэты.

Среди поэтов мы — гвно»,

— с выражением прочел он. — Ведь рисковали карьерой ради этих стишков...

— У нас, — Светлана работала в горьком комсомола, — и похлеще пижут. Тоже в туалете.

«Надоело мне в Рязани

Танцевать с тобой кадрили.

Милый, сделай обрезанье

И поедem в Израиль».

— Вот, вот, — подхватил Василий. — А вы говорите «народ».

— И насчет Ленина мода пошла к юбилею²⁰⁷. Представляете, сидят инструктора и соревнуются, кто кого переплюнет. Всякие кровати «Ленин с нами», духи «Запахи Ильича» или там мыло «По Ленинским местам».

«А в соседнем доме сейчас сидит с женой Брежнев и тоже рассказывает анекдоты: «Министр обороны объезжает войска перед парадом. Останавливается перед десантниками. «Здравствуйте, товарищи десантники!», «Здравствуйте, товарищ министр обороны!» Едет дальше. — «Здравствуйте, товарищи танкисты!» — «Здравствуйте, товарищ министр обороны!» — «Здравствуйте, товарищи чекисты!» — Долгое молчание. Потом: «Здравствуйте, здравствуйте...» — припомнил Лёня, но рассказать вслух не решился.

Все хорошо было в тот вечер. Леонид, захмелев, уже не помнил, что Василий сказал вроде бы что-то обидное и что, может быть, именно он виноват был в том, что не разрешили печатать папину книгу и что именно из-за него у папы могли начаться неприятности. Напротив. «Какие теплые, приятные люди», — думал он теперь. И уже собрался было уходить, голова чуть-чуть кружилась, и в ногах он ощущал легкую неуверенность, когда Василий, то есть Валечкин брат и его почти уже родственник, преподнес ему главный сюрприз.

— Мы вот что. Подумали и решили, что лучше вам учиться в аспирантуре в Москве. В Институте сердца, например.

Лёня ошалело посмотрел на Лисицына.

— Ты меня еще не знаешь, — гордо сказал тот, пожимая крепко руку.

— Он все может, — заверила Светлана, жена.

Валечка вышла проводить Лёню до подъезда. В лифте они долгодолго целовались.

— Ну, как мои родственники? — поинтересовалась Валечка.

— Высший класс, — Лёня поднял большой палец.

34

Свадьбу сыграли летом в Ярославле. И потекла жизнь как в сказке. Аспирантура в Москве. Прописка. С аспирантурой, правда, вышла заминка: мест в Институте сердца не оказалось. Но и тут Василий нашел выход. Место выделили на кафедре в Ставрополе у хорошего папиного знакомого, а второго руководителя взяли в Москве, так что почти все время Лёня проводил в столице, с Валечкой. И кооператив купили в самый первый год — на папины деньги, но, опять же, по протекции Василия Лисицына, сам Промыслов²⁰⁸ подписал разрешение. А вскоре родился сын, Саша. А еще через три года — Олечка.

Да, лучшее время жизни, первая половина семидесятых. Все казалось легко и просто. Даже война Судного дня пролетела мимо. В первые дни он сидел по вечерам у радио, слушал, переживал, но вскоре победа стала склоняться к Израилю...

Впрочем, в эти годы он редко вспоминал, что — еврей. До него, конечно, доходили разговоры, что евреев не берут на работу, да он и сам знал таких людей, и что — уезжают, но его это касалось мало. По паспорту он был русский, хотя так и не научился отвечать без смущения на прямой вопрос о национальности.

35

Василий со Светланой ненадолго застряли в Сибири. Он стал секретарем, кажется третьим, но в опале. Пути вверх и назад у Василия Лисицына не было. И вскоре он ушел с партийной работы — на академическую, в Москву, в Институт марксизмаленинизма, и снова стал писать свои книжечки. Что он там писал, что придумывал про сионистов, про еврейский капитал и мировую закулису, бог весть, вреда от его писаний большого не было: книжки его едва ли кто читал, разве что специалисты из Антисионистского комитета²⁰⁹ и арабские аспиранты, кропавшие свои диссертации²¹⁰, да разносили с возмущением по миру разные радиоголоса. Сам же Василий относился к своим писаниям с полным цинизмом.

— Эх, будь я еврей, я бы на твоём месте уехал в Израиль, — сказал он както Леониду. — А ещё лучше, в Америку. Вот где свобода. Разве можно сравнивать? — Но это году в восьмидесятом, в самый махровый пик застоя. К тому времени Василий успел защитить докторскую, благополучно пристроил дочку в МГИМО и стал все чаще выпивать — от извечной русской тоски.

Уж онто знал, что происходит. Догадывался, что система дышит на ладан. Что Афган — это конец. Они не зря там сидели по баням. Не только глушили коньяк и заедали икрой. Они знали, что экономика рушится. Были доклады в ЦК. В Госплане уже говорили и про экономику согласования, и про административный рынок; в брежневский застой пытались тихо менять шестеренки, но — система все хуже работала... все глуше... Америку шатало от гонки вооружений, а уж Советский Союз — на корячках... Холодная война — ведь тоже война. Устинов²¹¹ — это и был главный разрушитель. До конца требовал танки, все больше... Эти бронированные чудища и задушили Советский Союз... Сам Василий говорил. Но это уже потом, в перестройку, а тогда...

В восьмидесятом Василий нашел выход. По старым связям устроился в МИД и уехал в Латинскую Америку. Подальше. О мировой революции уже не мечтали. Задача стояла проще. Имитировать. Подкармливать братьев по идее. Делать вид, что все идет как задумано. Что крепнет борьба с империализмом. Решать задачи бюрократической отчетности. Это он сам потом признавался на пенсии. Вот он и писал письма в Международный отдел ЦК. Письма подкалывали, деньги переводили друзьям — на борьбу; те платили откаты. Задолго до Горбачева с Ельциным все началось...

Вернулись Василий со Светланой в самый разгар перестройки. Как раз кооперативное движение набирало ход. Василий сразу пристроился. Они тогда общались мало, больше Валечка со Светланой. Но знали, что пристроился к известному кооператору Рапопорту. Из редких евреевкомсомольцев. Как и Лучанский²¹², Рапопорт организовывал стройотряды, сидел, собирался за рубеж, однако в самый последний момент передумал — успел оценить открывшиеся перед ним невероятные возможности («поле чудес», как говорил он сам). Как и многие, Рапопорт стал вывозить на Запад удобрения и цветные металлы, купленные за копейки, но не только — те же самые устиновские танки, на которых погорел кооператив АНТ²¹³, ввозили же оргтехнику и компьютеры и устанавливали — наперегонки с Тарасо-

вым²¹⁴, тот — в министерствах, а эти — в ЦК. «Властители полумира, сердцевина империи, а сами не могли закупить компьютеры», — удивился Леонид.

Василий ничего не понимал в экономике. Ему платили за связи. В задачу Василия входило охотиться, ловить рыбу, сидеть по баням и ресторанам, разыскивать прежних друзей и знакомых, устанавливать связи на самом верху. Василий гордился, что в подручных у него ходили сразу два бывших гэбэшных генерала. А потом он по совместительству пристроился к партийным деньгам: стал подрабатывать в какойто ассоциации, связанной с КРЕДОбанком²¹⁵, которая занималась обналичкой и ввозила в страну доллары...

36

Леониду Вишневецкому давно казалось, что прожил он не одну, а несколько жизней. Разных. И сам он в этих жизнях был разный.

В первой — учился в школе и в институте, любил родителей, сестру, бабушку, тетю, увлекался историей, литературой, английским, писал стихи, встречался с девушками, влюблялся, играл в шахматы и в футбол. В этой, первой жизни он и осознал себя евреем. Когда? Быть может, еще в раннем детстве, когда Валечка назвала его «юрей» или когда бабушка молился, надев на себя талес и тфилин, или рассказывал про Холокост, только слова такого «Холокост» еще не существовало или в Советском Союзе его не знали, а может, когда он чтото слышал про «дело врачей» или про Соломона Михоэлса. Или — когда дразнили в школе, в Киеве в гостях у Голдентуллеров, а может, когда жена двоюродного брата Аркадия Люба — Люба? — декламировала «Бабий яр»? Както в шутку папа назвал его «православным» — изза паспорта — Лёня тогда обиделся, потому что знал, что — еврей. В душе — еврей. Даже если иной раз воображал себя русским — помещиком или белым офицером. Да, всегда знал, что еврей, даже несмотря на то, что знакомые армяне таких, как он, не знающих языка и традиций, называли «перевернутыми», не настоящими.

В школах, где он учился, встречались и другие нерусские ребята: грузины, армяне, греки. Их тоже, бывало, дразнили, называли кацо или хачиками, а еще когото обзывали чучмеками — Лёне это не нравилось, он был вежливый, спокойный и благожелательный мальчик, он знал, что это неприлично, что все нации должны быть равны, но в то же время никогда не думал, что этим ребятам, как и ему, может быть обидно и больно.

Вторая жизнь была короткая, но счастливая. Аспирантура, кандидатская диссертация, Москва, любовь, дети, предвкушение будущего. Жизнь попрежнему казалась бесконечной. Как говорил Лев Толстой, «все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные семьи несчастны поразному». Так или наоборот? Наверное, так. Леонид был счастлив и оттого очень мало что запомнил. Да и что он должен был запомнить? Позы, Валечкины стоны, как горели губы по утрам, театральные постановки, долгую очередь с вечерними и утренними переключками в Доме мебели за диваном, как доцент Шатихин долго сомневался, давать ли положительную характеристику для поездки в Болгарию — всетаки еврей, хоть по паспорту русский, как рождались дети? Как снимали дачу? Песчаный пляж и море в Кабулети? Все, все перемешалось, словно вымокло и поблекло в тумане — лишь смутными видениями вспоминал Леонид свою диссертацию, анализы, спектрофотометр, больных, истории болезни и себя на сцене в тот памятный день, в семьдесят шестом. Как тогда говорили, «двадцать минут позора и хлеб с маслом на всю оставшуюся жизнь». Нет, это обычно злопыхатели говорили или завистники, диссертация была очень даже приличная, материал огромный, генетические исследования, в провинции такого и близко не было, и выступал он блестяще, и если чемто и не был доволен, то лишь потому, что хотел чегото особенного, ярких, громких, сенсационных открытий. Но медицинская наука давно превратилась в рутину, в терпеливое собирание фактов, в статистическую обработку, в прикладные исследования. Последние великие открытия — ген-

ная инженерия, рецепторы, ДНК, митохондрии, мембраны, стволовые клетки — все совершалось *там*, в Америке и Европе; в Институте сердца, лучшем в Союзе, имелось лишь тричетыре лаборатории высокого уровня и в них работали не врачи, а биофизики и биохимики с университетскими дипломами, все те, кто в начале девяностых разлетелись по заграницам. Так что Леонид сделал все, что мог. И если при защите ему кинули пять черных шаров, то вина тут только обыкновенная провинциальная зависть, да может кто-то недолюбливал шефа, местного или московского.

Да, он был счастлив. Так погружен в себя, так занят Валечкой, детьми, диссертацией, что ничего не замечал. Нет, замечал, конечно, даже обсуждали с друзьями, спорили, слушали радиоголоса, изредка кто-то ездил на конференции или в командировки, но эта жизнь, другая, внешняя, скользила где-то снаружи, не затрагивая сознания. На время он словно ослеп...

В первый раз Лёня очнулся, когда исчез Рабин. За несколько недель, а может и месяцев до того тот выступал на философском семинаре об агрессивной сущности империализма, что-то о его политике в Африке, об антиколониальной борьбе, все правильно говорил, посоветски, с цитатами, недаром окончил университет марксизмаленинизма — и вот, оказалось, уже в Америке, в Иллинойском университете. Впервые тогда Леонид задумался, случай с Рабиным надолго запал в душу, но это произошло еще до защиты, и он не стал ничего говорить Валечке. Только, что вот, мол, уехал старший научный сотрудник.

Вскоре к Леониду пришла мысль, что Институт похож на нехорошую квартиру. Все было почти как у Булгакова: люди ходили на работу, встречались в коридорах, здоровались, сидели на утренних конференциях, на философских семинарах и ученых советах, выступали, публиковали статьи — и неожиданно исчезали. Один, второй, третий...

...Да, что-то неуловимо менялось. На трибуну Мавзолея поднимались все те же старцы с хмурыми лицами, в магазинах все так же стояли и даже росли очереди — по будням за продуктами, а в выходные за водкой, — все те же ползли длинные колбасные электрички, все те же — статьи и передовицы в газетах, все так же шумели про БАМ, так же воду в ступе толкли на философских семинарах, только теперь нескончаемо обсуждали «Малую землю»²¹⁶, так же в компаниях рассказывали анекдоты — все попрежнему, все поБрежневу, но... В коридорах Леонида несколько раз останавливали знакомые сотрудникиевреи, чаще других врачпатанатом Раиса Марковна Френкель, про которую все знали, что она дожидается пенсии, чтобы уехать, но бывало и русские тоже, все интересовались, не собирается ли он?..

— Я по паспорту русский, — улыбался Леонид. — И жена русская. Куда мне? — но сердце ёкало. Он с детства мечтал об Америке, где статуя Свободы встречает таких, как он, где в синагогах, говорили, для беженцев от Советов собирают все — от кастрюль и тарелок вплоть до мебели на годы вперед. И вот едут другие, а он — остается.

— Ну ну, — смеялись люди, — сиди... Авось, чего-нибудь высидишь.

Возбуждение овладевало умами. Поток ширился.

37

Закончив аспирантуру, Леонид оказался без места. Благодетель Василий находился в Сибири, «во глубине сибирских руд», секретарствовал. С одной стороны, наверное, хорошо, что Василия не было в Москве. В те годы совковая пропаганда злобствовала особенно, просто исходила ненавистью к «сионистам». Даже на совещании коммунистических и рабочих партий приняли специальное заявление. Именно в то время Леонид запомнил эти фамилии: Евсеев, Бегун, Юрий Иванов из международного отдела ЦК, все знакомые Василия Лисицына, «подельники», борцы...

— Свихнувшиеся на еврейской теме, — как-то по пьяни с присущим ему цинизмом определил Лисицын.

— Доходило до смешного, — както с ухмылкой рассказывал Василий, — имелось сразу два Бегуна. Один, Иосиф, твердокаменный сионист, отказник, участник правозащитного движения, «узник Сиона», в герои метил и все такое прочее, зато другой, Владимир Яковлевич, сукин сын, философюдофоб из Белоруссии, пламенный борец с сионизмом, наверняка выкрест. Так и говорил: «Я правильный Бегун, русский». «Ярмарку предателей» написал. Комплексовал, видно, сильно.

Везде были свои Бегуны, и тут, и там. Два мира, два Шапиро. — Но это много позже, в самом конце восьмидесятых, после Латинской Америки. К тому времени Василий Лисицын пристроился к Рапопорту и решительно забыл о прошлом своем юдофобстве.

О, они как с цепи сорвались в семидесятые. Есть такая порода людей: цепные псы. Стоит только власти свистнуть или подмигнуть, не нужно даже науськивать... Они сами. С внезапной, но хорошо управляемой яростью. Наверное, злоба и ложь могут доставлять чувственное удовольствие. Такой извращенный оргазм. Доказывали, что сионизм — особая форма расизма и фашизма и что в годы войны сионисты, читай евреи, рьяно сотрудничали с гитлеровцами. Помогали сами себя убивать. Да что там, даже Генеральная ассамблея²¹⁷... Все это в миг случилось, едва КПСС лопнула и весь советский блок. Начались разоблачения коммунизма... А в семидесятые как раз пик. Леонид запомнил названия пасквилей «Фашизм под голубой звездой» и «Сионизм: идеология и политика» — эти книжки продавались в институтском киоске.

— На ворах шапка горит, — жаловался он Валечке. — Фашисты кричат: «Держи фашистов. Вот они». Сталинизм — это и есть особая, классовая, параноидальная форма фашизма.

— Господи, о чем ты думаешь, — утешала Валечка. — Умные давно все поняли, а дуракам ничего не объяснишь. Но дураки эти книжки не читают. Читают одни евреи, вроде нашего заведующего. У нас они тоже лежат в киоске. — Институт у Валечки был закрытый, работал на космос, евреев туда не брали, Валечкин зав. отделом был там единственный семит. Как уникального специалиста его пригласили много лет назад, еще при Королеве.

— Точно по ШоломАлейхему, — заметил Лёня. — Есть у него такой рассказ «Два антисемита». Два еврея сидят в парке друг напротив друга и оба читают черносотенные газетенки. Потому что обоим интересно: «Что еще могли придумать эти антисемиты?» И с ненавистью смотрят друг на друга — лицо из-за газет не видно и каждый из них подозревает, что другой и есть настоящий антисемит, черносотенец. И вдруг одновременно опускают газеты, взгляды их встречаются... Но это я рассказываю — не очень смешно, а ШоломАлейхем классик, король юмора.

— Все как было при царе. Ничего не изменилось. Только вместо черной сотни красная, — с экспрессией сказала Валечка.

Да, с одной стороны хорошо, что Лисицыну в тот момент было не до евреев, меньше позора, всетаки родственник. Но, с другой стороны, помощи ждать было неоткуда. Защищать кандидатскую предстояло в Ставрополе. В Москве за пределами Института сердца Леонид мало кого знал. Но в Институте свободных мест не было. Он ткнулся в несколько мест по конкурсу: везде были свои. Всюду молча возвращали документы, только в одном месте состоялся разговор с заведовавшим кафедрой академиком. Тот был стар и склеротичен и, очевидно, по этой причине словоохотлив. К тому же, похоже, проникся сочувствием.

— Вы ведь еврей? — спросил академик.

— Нет, русский, — замявшись, отвечал Леонид.

— А на вид скорее еврей. И фамилия... красивая, конечно... однако подозрительная...

— И что же мне делать с такой красивой фамилией? — поинтересовался Леонид.

— Вот именно, что делать? Хороший вопрос. Я сам наполовину... Работал у меня тут раньше такой Шапиро. Вот на его место как раз конкурс. Ну, посудите сами, я вас возьму, а вы... уютю... уютю... — академик дурашливо изобразил руками это «уютю», словно перед ним был маленький ребенок. — Нужны мне такие неприятности? Да и ученый Совет... Сами

вытаскивают... Не знаю, что делать. Знаете, какая сегодня политика? «Не брать, не выгонять, не выпускать». В нашем случае первое: «не брать».

Некоторое время спустя — академик к тому времени умер — Леонид узнал, что тот был из князейюриковичей, правда, принадлежал к довольно захудалой ветви. Чтобы спрятать свое происхождение, очень мешавшее в новой жизни, он взял фамилию материеврейки. Будущему академику, правда, очень даже повезло. Фамилия матери была вполне амбивалентная, Полякова, так что очень долго он выдавал себя за чистого русского, выходца из простого народа. Только став академиком, начал иногда проговариваться.

В тот день Леонид впервые очень серьезно подумал об отъезде. И Валечка, к удивлению Леонида, сразу его поддержала. Ей не меньше, чем Леониду, все обрыдло: антисемитизм, бесконечные очереди, все более длинные, вечные запреты и мысли о том, что ничего не меняется в этой стране и что такие же или похожие проблемы будут у детей. «Я совсем не против рискнуть. Совсем, — сказала Валечка. — Конечно, родители, страшно, но все както решится... Может, Вася... Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Тут все всегда: нельзя, нельзя, нельзя... И главное слово: «дефицит»... А ведь живем один раз... Один... — Валечка мило жала виски. — И прожить жизнь надо так... А там Лена Суркис, моя школьная подруга, ходит по Бродвею, слушает мюзиклы... И все у нее есть: «Ягуар», яхта, вилла на Гавайях... Я, знаешь, верю, там ты станешь миллионером, — Америка создана для таких дельных, целеустремленных людей, как ты. Или, может, наоборот, такие, как ты, созданы для Америки»...

О, молодость, полная сил! Еще и тридцати не было. Все, все было впереди. Все возможно. Америка! К тому же вырваться из Тошниловки...

...Но нужно было сначала защитить диссертацию. И он защитил. Даже блестяще защитил. Но пока ожидал защиты, у московского руководителя появилось место мэнэеса. И они на время забыли, все забыли — отложили мечту. Уж слишком много терний было на дороге в Америку...

Едва устроившись, Леонид стал думать о докторской. А время бежало, бежало...

Лишь через несколько лет он понял, что — тупик. Ктото из приятелей стал старшим. Ктото уехал и неожиданно осел в Южной Африке. А он — застрял. Все места давно были заняты. Все определяли штатное расписание и Евгений Васильевич Чудновский, директор, академик, очень большой человек, по совместительству начальник Важнейшего управления. А может, совсем наоборот, директор Института по совместительству. Большую часть времени Евгений Васильевич проводил среди небожителей, при коммунизме, что естественно — небожители старились, болели... Приближалась пятилетка больших похорон...

38

Вторая жизнь медленно и незаметно перетекала в третью. Вроде все то же, только дети — Саша и Оля — росли, у Леонида продвигалась работа над докторской, у Валечки — над кандидатской, но — оптимизма стало меньше. Летом ездили с детьми в Крым, отдыхали, путешествовали, купались, загорали, и все вроде было замечательно, а вернулись — почувствовали, что настроение портится...

39

С чего все началось? Со случая с Силантьевым?

Саша Силантьев работал старшим научным сотрудником в соседнем отделе. Человек он был чрезвычайно талантливый. Ему еще не было сорока, а он уже заканчивал докторскую. Леонид знал его не очень близко, но — родственная душа... Несколько раз, когда Леониду приходилось с ним общаться, Силантьев неизменно переводил разговор на литературу или историю — книжник он был совершенно завзятый, запоем читал Набокова, Платонова, Ман-

дельштама, Ахматову; Мандельштама и Пастернака целыми поэмами знал наизусть. Интеллигентнейший человек был, говорили, что потомственный врач, что дед его по матери, профессор, сидел по делу врачей, а прадед, тоже профессор, лечил Ленина.

Както Саша рассказывал про своего деда, что тот узнал давнишнего пациента, царского полковника, через тридцать с лишним лет с помощью аускультации. Дед был небольшого роста и снизу вверх не разглядел лицо, а может забыл, временно утекло много, мало чего осталось от прежнего молодого красавца, но стал выслушивать — тотчас вспомнил, узнал по хрипам, тот чудом уцелел и в Гражданскую войну, и в тридцатые и мирно доживал на пенсии в коммунальной квартире. Вот, мол, какие раньше были врачи — прадед у самого Захарьина²¹⁸ учился, а дед — музыкант, тончайший слух, абсолютный, с Рахманиновым музицировал в молодости, у Скрябина брал уроки композиции.

Както Силантьев предложил Леониду почитать «Лолиту», дал на несколько дней, возможно, оценивал, но роман Леониду не понравился, его мало интересовали нимфетки. Тема показалась Леониду совершенно искусственной, выдуманной — и он вернул книгу, не дочитав. Это его и спасло.

Через знакомых Силантьев получал книги изза границы, да и самиздат почитывал — настоящим антисоветчиком не был, скорее, обыкновенный экзальтированный интеллигент. Гуманитарный. Жаловался, что спит плохо. По ночам читал. И любил давать друзьям книжки.

Както он забыл свои книги на работе, в столе. И надо же, в тот же день донесли. Не исключено, что кто-то польстился на место старшего, а может, не любил, сводил счета или действительно — сексот²¹⁹. К тому времени забывать стали, а ведь было же — это Леонид знал точно, от многих слышал, — что в каждой лаборатории, в каждом отделе, в каждом цехе — сексот.

В тот же вечер приехали, в отделе как раз шла пьянкагулянка. Прямо тепленьких — в понятия. А в столе — Солженицын и Сахаров. «Архипелаг ГУЛАГ» и «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Будто нарочно подобрали. И закрутилось...

Силантьев, конечно, очень скоро дал признательные показания. С ним повязаны оказались трое. Леонид ожидал в те дни, что и его вызовут, но Силантьев — то ли забыл, то ли промолчал. А может, *и м* не до нимфеточек было?

Дело вскоре замяли. Время не то чтобы вегетарианское, но — система дряхлая. А главное, Чудковскому не нужен был шум. Ему — репутация за границей.

Тех троих — уволили, вернее, уволились сами. Как говорили в то время: добровольно-принудительно. А Силантьев надолго слег в психиатрическую клинику.

В семидесятые-восемидесятые на Западе много говорили про карательную психиатрию, будто инакомыслящим в СССР пришивают диагнозы. Да, шили, и часто. Держали за решетки здоровых людей. Но многих *о н и* на самом деле сводили с ума. Залечивали, забивали, превращали в безмолвные существа. А Силантьев действительно был слабый, нервный. Интеллигент...

...После случая с Силантьевым Леонид с Валечкой снова стали думать об отъезде. Тем более, — и перспектив не было...

Семидесятые, застойные... От ленинского юбилея до «Малой земли». Это только снаружи — застойные, для поверхностного историка...

«А на кладбище все спокойненько», — пел Высоцкий про семидесятые, а про что же еще? Да, тишина как на кладбище, показная, фальшивая. А в глубине, внутри «крот исто-

рии», как писал Маркс, этот враждебный еврейству выкрест²²⁰ — «крот истории» продолжал рыть. И оттого изпод глыб²²¹, меж глыб пролегали все более глубокие трещины. Система была больна — неизлечимо, смертельно — только мало кто это понимал...

Началось *это*: саморазрушение, распад — так Леонид охарактеризовал происходившее про себя, — когда советские танки ворвались в Прагу и им пытались противостоять безоружные студенты. А может — на Лобном месте в Москве, когда против империи и насилия вышли семеро бесстрашных²²².

В семидесятом их было всего трое — Чалидзе, Сахаров и Твердохлебов, — но красная империя, затаив злобу, на время отступила. Через несколько недель или месяцев, когда Леонид впервые услышал про Комитет прав человека²²³, он понял: *и х* империя — не прежняя уже, она дряхлеет вместе со своими вождями.

Семидесятые, застойные... Много чего происходило в семидесятые... Эпопеи Владимира Буковского²²⁴ и генерала Петра Григоренко²²⁵, массовый характер приняла карательная психиатрия²²⁶ — лишь в конце десятилетия Леонид узнал от Чернобыльского про суды над Семеном Глузманом²²⁷ и Александром Подрабинеком²²⁸, пытавшимися открыть страшную правду, — возникли Хельсинкские группы и ширилось движение крымских татар²²⁹. Но, пожалуй, больше всего взволновали Леонида самолетное дело, следовавшие за ним карательные процессы и голодовка еврейских отказников в приемной Верховного Совета. И, конечно, «дело Щаранского»...

...Щаранский — человек-символ. Еврейский Давид против советского Голиафа. Девять лет слушали Леонид с Валечкой радиоголоса, до тех пор, пока в восемьдесят шестом, при Горбачеве, Щаранского не обменяли на знаменитом Берлинском мосту Глинике, том самом, где почти за четверть века до того обменяли Пауэрса²³⁰ на советского шпиона Абея.

К тому времени сложилась новая традиция заложничества: обменивать диссидентов, словно живой товар. Десятью годами раньше в Швейцарии на Луиса Корвалана²³¹ так же, в наручниках, обменяли Владимира Буковского, объявленного не только антисоветчиком, но и хулиганом. В тот раз народ веселился, даже частушку придумали:

Обменяли хулигана
На Луиса Корвалана.
Где б найти такую бл*дь,
Чтобы Брежнева сменять?

...Закончились семидесятые советским военным вторжением в Афганистан. То было начало конца. Советскому Союзу оставалось жить немногим больше десяти лет, но никто об этом не догадывался.

41

...С вечера, как всегда, они с Валечкой слушали «Голос Америки». Передавали про суд над Владимиром Буковским, его процесс шел как раз в Мосгорсуде — судили «за антисоветскую агитацию и пропаганду». Ночью они долго не могли уснуть — о, любовь, любовь, ничто, даже этот нечестивый суд не мог ей помешать, — а утром Валечка присела к Леониду на колени и произнесла своим волнующим голосом:

— Мне ночью, ближе к утру, приснилось, что я беременна. Будто ангел в белом слетел откуда-то сверху и сказал, что родится мальчик. — О да, чудо, как в евангелии, потому что Леониду тоже приснился сон, очень похожий на Валечкин, но вместе другой, еврейский.

— Мне тоже сегодня приснилось. Только по-другому. Будто мы — Самсон и Далила. И я несу тебя на руках... Через границу? Нет, не помню... Но, кажется, у тебя живот — большой... а я хочу тебя... Очень хочу... Немного странный сон...

В детстве дедушка часто крутил на патефоне эту пластинку — про Самсона и Далилу. Леонид давно не помнил, на каком языке исполнял певец эту песнюбыль. На идише? На иврите? Слов он не понимал и не знал содержание, знал только: про Самсона и Далилу. Чтото романтическое, древнее, было в их именах; случайно он запомнил мелодию — какуюто печаль, вечную еврейскую печаль, и голос, очень сладкий, как у Фрэнка Синатры... Лишь много позже Леонид узнал, что Далила была филистимлянкой и предала Самсона... В то время он не догадывался... Думал, еврейские Ромео и Джульетта... И Валечка тоже, к счастью, не знала...

Да, такие сны. И все в руку. Через девять месяцев, желтолиственной дождливой осенью, совсем не похожей на израильскую, Валечка в самом деле родила мальчика. И дали ему эллинское имя Александр. И вскоре вырастут у него длинные волосы, как у Самсона... И будет он высок и строен, как Самсон. И будут у него голубые глаза...

В тот день он обнял ее и держал на руках, и спросил, на мгновение прервав поцелуи:

— Поедешь хоть на край света?

— Хоть на край света.

В то время или чуть позже — все уже давно перепуталось, слишком много лет прошло — и еще одну вещь сказала Валечка, которую он запомнил на всю оставшуюся жизнь.

— Вася сказал, что *они* ненавидят евреев, потому что боятся. Что в евреях заключена какаято тайная сила. Это, мол, очень плохо, когда евреи уезжают. К беде.

— Странные суеверия, — рассмеялся тогда Леонид. — Вроде материалисты, а подвержены темной, непонятной мистике. Такие же люди. Разве что пьют меньше и больше работают. Не делали бы евреям плохо, они бы так не рвались. *Им* бы на себя посмотреть. — В те годы в Москве по рукам ходили списки, в какие институты можно, а в какие нельзя поступать. Нельзя было в МГИМО, словно пакт «МолотовРиббентроп» все еще действовал — и в университет, но на разные факультеты поразному. Особенно же стерегли от евреев мехмат, физтех и МИФИ, а можно — в МИИТ и в МИСИС. Там и мужали будущие еврейские олигархи.

42

...Народ. Плохая память у народа, короткая. В девяностые, хлебнув горя, про Брежнева стали вспоминать с ностальгией. Чуть ли не золотой век. И он — добренький дедушка. А в семьдесят шестом — не любили. Нельзя сказать, что очень уж сильно — не было в нем ни дьявольской харизмы Отца народов, ни суетливой энергии лучившегося бескультурьем Хрущева, он совсем не внушал страха. Своей посредственностью Брежнев скорее олицетворял серость взлелеявшей его системы. Брежнева просто не уважали. Не верили, что это он принимает решения, что это он — послал танки в Чехословакию. Этот старик, все и всегда читавший по бумажке, ни слова от себя, с кашей во рту, будто у засыпавшей сомнамбулы, со знаменитыми «сиськимасиськи»²³², четырежды герой задним числом, с таким безумным количеством цацек на груди, что это служило причиной множества анекдотов; он был даже не графоман, к тому же страдал дислексией, но возведен был в главные писатели страны — над косноязычным генсеком почти в открытую потешался народ. А между тем Брежнев скорее заслуживал жалости.

Казалось, что доктрину Брежнева сформулировал не этот добрый старик, а кто-то совсем другой, он же лишь прочел по бумажке, не слишком вдаваясь в смысл.

Брежнев не был антисемитом, утверждали даже, что жена его еврейка, но при нем крепчал антисемитизм, и усиливалась борьба с сионизмом, к счастью, в виду потери арабских союзников — в значительной степени бумажная. Брежнев не был злым, однако с его ведома годами мордовали узников совести в тюрьмах и психиатричках. Брежнев преклонялся перед Стали-

ным, выдвинувшим его в секретари ЦК и в кандидаты в члены президиума, но, вопреки ожиданиям, не допустил возрождения сталинского культа, а его собственный культ служил скорее пародией. Он не был агрессивен, но при нем столько наштамповали танков, ракет и подводных лодок, что окончательно подорвали экономику, и многие годы после кончины СССР торговали старым вооружением, отчасти в виде металлолома. В некотором роде, однако, Брежнев был неплохой правитель, даже посвоему мудрый — ничего не менял и не пытался переиграть историю. Фаталист. Да, посвоему неплохой: если Сталин олицетворял жестокость революции, ее людоедскую силу, то Брежнев — ее перерождение и угасание.

Только такой ли правитель нужен был великой, несчастной стране, запутавшейся в собственной истории и в собственных комплексах? Вот этого правителягенсека, этого склеротического старика авторы частушек и хотели сменять...

43

Году в семьдесят восьмом — семьдесят девятом Леонид с Валечкой наконец всерьез задумались над тем, что хорошо бы уехать. Не они одни, очень многие задумывались и уезжали. Лучше всего в Америку. Время для них было золотое — тридцать лет, они бы успели еще подняться, сдать экзамены, заработать свои миллионы. И дети слегка подросли. Саше семь почти, Олечке четыре. Был такой разговор, и они решили...

Вроде решили, но чисто теоретически. А дальше одни вопросы. Это сейчас четыре часа полета — и ты в Израиле. Двойное гражданство, Юнистрим²³³, и квартиру можно продать. А тогда... Как на другую планету... Все уезжавшие знали, что никогда не вернутся, никогда не увидятся... Никогда... Словно смерть. Всю прежнюю жизнь похоронить — самим, добровольно. С собой — ровно сто сорок два доллара на душу. И с родителями — никогда...

...Как раз в тот год провожали Свердловых. Вроде бы не родственники, седьмая вода на киселе. На перроне те рыдали... Ехали до Вены, а там — неизвестность... Не знали, в какую страну... Он — врач, она — пианистка. До того — четыре года в отказе. Несколько раз хотели передумать, сдатьсь, но на работу нигде не брали. Только несколько месяцев за эти годы Валерий подрабатывал грузчиком. А Лена раньше играла в известном ансамбле, изза того и решились уезжать, что ее не пускали за границу. Теперь же — без практики, без перспектив. Отец недавно умер от инфаркта. Не дождался. Надеялся, что в Америке или в Израиле ему сделают операцию. Многие пожилые люди уезжали изза шунтирования.

В тот день сердце рвалось. Валечка плакала. Леонид едва сдерживал слезы. Свердловых было жалко, но в то же время им завидовали.

— Какие звери, — всю дорогу твердила Валечка. — Какие звери. Мне стыдно за нашу страну. Так издеваться над людьми. Какойто садизм. Особенный. Лицо этой власти.

А потом убили Зою Федорову²³⁴. Она была знакомая. Жила в соседнем доме. Вскоре после отъезда Свердловых. Два совершенно не связанных между собой дела. Зоя Федорова никогда не знала Свердловых. Или всетаки связанных? Всюду, во всем был произвол.

Да, решили, что нужно уезжать, но тут же и поняли, что — невозможно. Леонид записан был русским. Папа в свое время не предусмотрел, что железный занавес когданибудь приоткроется. И притом — докторская. Вроде недавно начал, но жалко было бросать. А с Валечкой еще хуже. Валечка работала в Институте космических исследований. А там — не только люди, там каждая мышь была засекречена. Ничего секретного Валечка не знала, у нее не было допуска, но — обыкновенные книги из библиотеки нельзя было вынести, и не только нельзя было ездить за границу, не рекомендовалось посещать рестораны, останавливаться в гостиницах, разговаривать с иностранцами и сообщать место работы. Словом, требовалось находиться на секретном положении даже в собственной стране, «жить под легендой», как внушал Валечке тамошний особист. Чтобы уехать, требовалось уйти, и пять лет, а может быть и все десять

сидеть тихо. Рассекречиваться от несуществующих секретов. И опять же, кандидатская, очень жалко было прервать работу на середине. Столько сил угрохано, хотя Валечка была не в восторге. Но что же делать? Институт был привилегированный, с надбавками, Василий устроил, и шеф знаменитый, хотя и давно отстал от жизни, но теперь все это превратилось в ловушку.

Когда просчитали все, поняли: застряли надолго. Для начала Валечке нужно было заканчивать кандидатскую, потом искать другое место. А годы бегут...

Впрочем, вскоре все определилось. Советские войска вошли в Афганистан, и детант закончился. Двери надолго закрыли. Евреи, как всегда, стали заложниками. И Леонид с Валечкой смирились...

А как было не смириться? В восемьдесят первом — военное положение в Польше. Горько шутили, что Советский Союз послал в помощь Ярузельскому две тысячи яиц, исключительно в галифе. Советская интеллигенция, особенно евреи, молилась тогда на Валенсу, на «Солидарность», но молчала в тряпочку. Боялась. А потом наступила андроповщина...

44

Андроповщина... Время словно сжалось и ускорилося. Южнокорейский самолет²³⁵, кортежи призраки, облавы...

45

В начале восьмидесятых большинство сотрудников Института во главе с самим Чудновским переехали в огромный новый Центр на Рублевке, подарок Леонида Ильича. Это была гигантская, поражающая воображение, огромная современная кардиологическая фабрика, напичканная американской, японской и немецкой аппаратурой — ничего похожего в стране раньше и близко не было, разве что подобная аппаратура имелаась в недоступной Кремлевке, где врачевали престарелых небожителей. Но туда не только рядовому совку, туда и врачу без особых анкет и многомесячных проверок было не проникнуть.

Новый комплекс представлялся эталоном, даже чудом, списанным с всемирно известных американских клиник, недаром Чудновский немало подвизался на Западе и, нужно отдать ему должное: не праздным туристом ездил, а немало чему научился, высмотрел и благодаря своим неограниченным возможностям перенес на девственную отечественную почву. И опять же, недаром от Калининграда до Владивостока стар и млад работали на только строившийся еще Центр на Ленинском Всесоюзном субботнике — Центр не только начинен был современной аппаратурой, здесь впервые в Союзе запустили на поток операции аортокоронарного шунтирования, стентирования и другие современные технологии. В Центре созданы были экспериментальные лаборатории мирового уровня, здесь планировали, но не сумели, не успели — все рухнуло в девяностые, все лучшие специалисты разбежались — разрабатывать лучшие в мире тромбо и коронаролитики, бетаблокаторы нового поколения; и даже диагностический процесс поставлен был в Центре поновому: пациенты с самого начала проходили обширнейший комплекс обследования, благодаря чему медицина здесь окончательно превратилась из высокого искусства в рациональную, точную, суховатую науку. Нечего и говорить, что работать в новом Центре было исключительно престижно.

Увы, но мечта Леонида о переезде в новый Центр (от его дома на Кутузовском и ехать было недалеко) не осуществилась. Отдел профессора Минскера, где он работал, оставили на прежнем месте, в осиротевшем Институте. Их оставили, а там создали новый, современный отдел, работавший над аналогичной тематикой, во главе с тридцатилетней дочкой Чудновского.

Тут, впрочем, дело было не только в дочке, в последние годы Минскер отчего-то впал у Чудновского в немилость. Он всегда был не из ближнего круга: старый, он знал Чудновского еще мальчишкой, когда тот только начинал свою партийную карьеру, был верным сталинцем и сильно активничал во время «дела врачей», а потом, после XX съезда, столь же рьяно отмазывался от бывшего своего кумира. Старожилы говорили, правда, что и Минскер в свое время был не сахар и немало попортил молодому Чудновскому крови. В зрелые годы он вообще любил выступать на собраниях и не без ехидства всегда вспоминал прошлое. Только в последние годы немного притих. И даже будто бы лет тридцать назад вдребезги раскритиковал кандидатскую диссертацию Евгения Васильевича, тогда просто Жени.

Между тем могла быть и другая причина нелюбви Чудновского. Поговаривали, что Евгений Васильевич — антисемит, и то ли из принципа, то ли из осторожности не берет в свой новый Центр евреев, даже очень известных ученых. Мол, изза этого сам Меерсон уехал в Канаду. Хотя уж Евгений-то Васильевич взять Меерсона мог. Накоротке был и с Андроповым, и с Брежневым. Выполнял их поручения, лечил, боролся за мир, известен был на Западе.

Раскусить Чудновского — антисемит, не антисемит — было довольно сложно: с одной стороны, продвинутый, вроде бы западник, выучил английский язык, якшается с американцами, собирает голоса против ядерной угрозы и «Першингов», а там через одного — евреи. Когда приезжал известный доктор Шапиро — рыжий, носатый, типичный аид²³⁶ — Евгений Васильевич не отпускал его от себя ни на миг. Потом говорили, что Шапиро за свои открытия должен стать Нобелевским лауреатом, и Чудновский держит его в друзьях впрок. Очень рассчитывает. Тоже надеется на премию. Сам он ничего не изобрел, правда, зато на него работают несколько огромных отделов — специалистов собирали по всей Москве и даже специально приглашали из Пуццо²³⁷.

Да, посылает на стажировку в Америку ближайших сотрудников, дочку на два года отправил в Принстон, делает на Западе либеральные заявления — не без выгоды для себя и не без согласования с небожителями, крестный отец Горбачева, но это потом, чуть позже, никогда ни слова про Израиль, разве что состоял в тесной дружбе с Насером, а с другой стороны... Чтото доказать трудно, случайно, нет ли, но не берет в свой Центр евреев, да и было несколько подозрительных случаев. С тем же Минскером, например, или с Меерсоном...

Минскер до последнего считался очень серьезным ученым, и клиницистом почти выдающимся. Из старой школы, давшей много знаменитых имен. Ученик Вовси²³⁸. Хотя в последнее время устал и отстал. Леонид за него вкалывал — да и не один Леонид, — а Григорий Наумович разъезжал по конференциям. Выступал. Красовался. Хотя... Дальше Польши и ГДР его не пускали. И оборудование у Минскера третьесортное, старое. Вся валюта уходила к ближайшим сподвижникам Чудновского. Впрочем, Григорий Наумович не очень и разбирался в новом...

Нет, конечно, Леонид Вишневецкий должен быть Минскеру благодарен. Но, опятьтаки, с одной стороны. Сделал кандидатскую, и неплохую. И дальше — научный руководитель. Относился хорошо. Но вот с докторской не заладилось сразу. Минскер, может, и выдающийся клиницист, редкий — слышал уже плохо, переспрашивал, но в аускультации попрежнему бог, улавливал тончайшие нюансы, словно на него нисходило откровение, чуть ли не последний из корифеев, но одновременно типичнейший дилетант. Время наступило другое... Полез в генетику, в серьезную биохимию, где очень мало чего понимал. И потащил за собой Леонида. Сколько сил Леонид отдал. Ведь это же фундаментальная глупость. Он, конечно, молодой, рылся в книгах, учился, постигал — то, чему его не учили в институте. Нормальный биохимик сделал бы за несколько месяцев, а он убил годы... Да, годы, прежде чем понял, что — тупик. Гипотеза выглядела очень даже привлекательно, вот Минскер и настаивал до конца. Вот это и есть дилетант, волюнтарист. У настоящих ученых гипотезы рождаются в процессе исследований, от изучения природы, а этот... придумывал гипотезы... Но, однако, работа вначале выхо-

дила интересная. Леонид надеялся сделать докторскую в несколько лет, но увяз. Катастрофа разразилась позже... Он понял, что совсем другой механизм... ничего нового он не открыл... Да, не сразу понял, постепенно, все так переплелось...

...В восьмидесятом, когда начался великий переезд, Леонид уже все понимал: что — тупик, что гипотеза Минскера неверна и что нет такого механизма развития гипертензии. Тут нужно было или лгать, или все менять кардинально. Быть может, начинать сначала. Он задумался тогда: не пойти ли к Чудновскому? По бумагам он ведь не еврей. Собственно, он мало чем рисковал...

Незадолго перед тем Леонид Вишневецкий выступал на конференции молодых ученых по атеросклерозу. От выступления Чудновский был в полном восторге. Леонид это видел. Да Чудновский и не скрывал. В заключительном слове отметил особо. Леонид подумал тогда: поддержит, и почти решился. Он готов был уйти от Минскера. Понимал, что песенка Григория Наумовича спета. Ему нужен был другой, сильный покровитель. И заодно руководитель. Да хоть сам Чудновский. Хотя... Бог знает, как бы тот посмотрел. И как бы обернулось... Позже Чудновский очень себя показал ретроградом. Даже книги принялся писать. Верный андропо-вец...

...Но план этот — пойти к Чудновскому, — сорвался... Можно сказать: пикантейшим образом. Через несколько дней после конференции Леонид случайно встретил Чудновского в туалете. В самый, так сказать, интимный момент — перед писсуарами. Леонид уважительно поздоровался. А что было делать? Евгений Васильевич сделал вид, что не узнал. А может — и правда не узнал? Посмотрел пустым взглядом, вроде прямо и одновременно мимо, будто не человек перед ним, а так... заправил хозяйство, огромное, на пять жен хватило и еще на кучу любовниц — и ушел. Леонид был в растерянности. Вроде не самое лучшее место для разговоров. Но не узнать?..

После этой встречи идти к Чудновскому Леонид не решился. К тому же, они много раз советовались с Валечкой и пришли к выводу, что уходить от Минскера нельзя. Не дай бог, сильно обидится. Леонид ведь не знал наверняка, что застрянет с этой докторской, что придется все начинать сначала. Надеялся, что можно исправить... Не догадывался, что через пару лет институт перепрофилируют и сменят тематику, а Минскера выпроводят на пенсию. Впрочем, к этому времени тот уже собрался. Как же, дети, внуки, все уже были в Америке... Почти сразу уехал. А Леонид остался с зашедшей в тупик докторской. Ее, быть может, както можно было перекроить, чтото переделать, какието фрагменты использовать, но отъезд Минскера поставил жирный крест. Кто возьмется после шефаэмигранта? Самое имя его произносить было нежелательно.

Правда, коечто, и даже многое, Леонид потом использовал. Но — потом... Очень скоро все забылось... Стало не до Минскера... Но это уже при Горбачеве...

Одно счастье: в восемьдесят третьем Леонид стал старшим. Иначе бы совсем караул. Но и тут все не как у людей...

Восьмидесятые начались за несколько дней до нового, тысяча девятьсот восьмидесятого года — Афганистаном. Очередная война. Или, как сообщалось официально, «ввод ограниченного контингента». Но это оказалась совсем не такая военная операция, как в Берлине в тысяча девятьсот пятьдесят третьем²³⁹, как в Венгрии и Чехословакии, в Тбилиси и в Новочеркаске, когда подавляли безоружных. Здесь — настоящая война. По неведению и некомпетентности, от самоуверенности силы («танков много, ума не надо», как сказал ктото в Институте), разворошили исламский муравейник. И началось... Тревогой повеяло в воздухе. Афганистан, Ангола²⁴⁰, Эфиопия²⁴¹, Никарагуа²⁴²...

...Росли очереди... За колбасой и туалетной бумагой, за обувью и одеждой. Полки магазинов стремительно пустели. Леонид на всю жизнь запомнил, как он был горд, когда по великому благу через замдиректора достал в «Белграде» австрийские туфли для Валечки. На обратном пути они едва вырвались из магазина, такая там собралась толпища.

...Заканчивался детант. Холодная война достигла своего апогея. Бойкот олимпиады, смерть Высоцкого.

Восемьдесят второй, переломный. Он начался с таинственного самоубийства Цвигуна²⁴³ и первых из больших похорон. О смерти Суслова вскоре забыли, но равновесие оказалось нарушено безвозвратно. Пожалуй, именно малозаметный, скромный, скучный Суслов олицетворял эпоху — послесталинскую, застойную — никак не меньше, чем Брежнев. Серый кардинал, марксистортодокс, верный сталинец, человек в футляре, похожий на живые мощи, которого Сталин незадолго до смерти приблизил к себе и, по смутным слухам, намечал в наследники; человек, произносивший политическую эпитафию Хрущеву и его сумбурным реформам, руководивший депортацией карачаевцев²⁴⁴ и которому, по слухам — еще папа рассказывал Лёне — предназначено было отвечать за депортацию евреев; это Суслов, а не Жданов, придумал «безродных космополитов». Главный цензор, идеолог, глава агитпропа и самый авторитетный член Политбюро, Суслов служил стержнем, на котором покоилась выстроенная Брежневым система власти. Он умер, когда сам Брежнев и вся его днепропетровская мафия оказались слишком стары и немощны, чтобы отстроить систему заново или хотя бы удержать власть. Леонид Брежнев был еще физически жив, о нем и о его эпохе еще рассказывали анекдоты, Леонид их помнит до сих пор: «При Брежневе, как в самолете. Тошнит, а выйти нельзя». И еще про Софи Лорен. Спрашивает Леонида Ильича: «Леонид Ильич, почему вы не отпускаете людей на свободу?» «Ах, плутовка, — с радостной улыбкой шамкает генсек, — неужели захотела остаться со мной наедине?»

Не выпускали, тошно было, и никаких перспектив — тьма, а умер старик — Евгений Васильевич прохлопал? Сам? Или по подсказке? — жалко стало. Привыкли. Вsetаки не самый вредный старик. Испугались: то ли еще будет? Недаром песню Аллы Пугачевой крутили на Первомай.

В последние месяцы восемнадцатилетнего правления Брежнева реальная власть быстро перетекала к Андропову. Брежнев, впрочем, уже давно любил больше не саму власть — тяжела, не по стариковским силам, — но связанные с ней атрибуты и видимость. Дела же продолжали катиться по наезженной колее, с ними вполне управлялся аппарат.

Всесильный шеф КГБ наконецто дождался своего часа. Он ждал очень долго, слишком много времени собирал свои тайные досье и плел, подобно осторожному, но неутомимому пауку, свою сеть. Теперь же Андропов спешил, он словно чувствовал, что времени у него мало. Пятнадцать лет он занимался диссидентами, отказниками, провокациями, интригами, высылал инакомыслящих из страны, сажал в психушки — впрочем, и Афганистан, и Прага, и еще раньше Венгрия²⁴⁵, и покушение на римского Папу²⁴⁶ — это все его творчество, часть его тайной жизни; лишь изредка Великий инквизитор поступал благородно²⁴⁷. Теперь же Андропову предстояло заняться мировой политикой, помериться силами с ненавистникомдидетантом, с красавчиком артистом Рейганом. Оставаясь Фуше²⁴⁸, изворотливому Андропову предстояло стать и Талейраном²⁴⁹.

Брежнев был еще жив и у власти, когда дальними сполохами полыхнули «хлопковое»²⁵⁰ и «бриллиантовое»²⁵¹ дела и по Москве поползли слухи про директора Госцирка Колеватова²⁵² и красавцацыгана Бориса Буряцэ. Паук подбирался к «семье».

О, все, буквально все повторяется в истории. На «семью» вскоре накатится девятый вал событий и она тут же исчезнет в волнах, только самые памятливые еще некоторое время будут

помнить, кто с сожалением, а кто и со злорадством, и очень скоро появится другая «семья», фарс сменится фарсом, но это уже в девяностые...

Леонид Ильич умер вовремя, вместе с окончанием своей унылой эпохи, когда все начало рушиться. Его похоронили со всеми положенными ему почестями — и сразу замелькали фамилии Щелокова и его жены, Галины Брежневой и Юрия Чурбанова, завертелось «узбекское дело». Но выстрелило позже, после Андропова — декорации сменились слишком быстро. Улита сыска и правосудия разучилась торопиться.

В то время Леонид Вишневский не догадывался, да и никто не догадывался, что все происходящее — конвульсии, признаки начавшегося умирания последней империи. Что медленно текущая, казалось, почти неподвижная история, решила вдруг стремительно ускориться. Напротив, пациент казался жив, относительно здоров и даже вечен. Представлялось, что признаки смертельной болезни должны быть какие-то другие. Какие, никто не догадывался, да никто и не знал правду. Разве что сам Андропов, запретивший «Бориса Годунова»²⁵³. Борьба за власть в Кремле, которую он только что выиграл, слишком напоминала борьбу в конце шестнадцатого, начале семнадцатого века. А та борьба — предшествовала смуте. В России снова не было цивилизованного механизма передачи власти.

Не нужно и говорить, что при Андропове двери плотно захлопнулись. Требовалось сидеть тихо, очень тихо... Даже не мечтать... И Леонид с Валечкой смирились... Сейчас он не смог бы даже сказать, надолго ли смирились или на короткое время, он уже не помнил точно. Но — смирились.

47

Однако «недолго музыка играла, недолго фразер танцевал». Года не прошло, как Андропов слег в ЦКБ²⁵⁴ и еще через несколько месяцев умер. До смерти всех напугал и — умер. Ничего он не смог, да и не мог сделать. Не по Сеньке оказалась шапка. Серьезной программы у Андропова не было, ничего в принципе он не собирался менять, а только «навести порядок». Чтото сталинское, рецидив. Хотя... изображал из себя либерала и интеллектуала, будто языки знал. Монтеня якобы читал в первоисточнике... Стихи писал, и вроде бы действительно неплохие. Но больше мастер был по созданию всяческих мифов, профессионал. Настоящий рыцарь... плаща и кинжала. Вроде мать отца у него еврейка, прямо зеркальное отражение Ленина²⁵⁵. Но все это больше для заграницы. Многих на самом деле провел, даже опытных журналистов. Якобы, изгоняя диссидентов из страны, он едва не плакал от сочувствия. Но — долг превыше всего...

Из андроповского времени в память Леонида Вишневского особенно врезались три картины — фантасмагорических и, пожалуй, постыдных.

Первая — самая безобидная. Хотя, по времени, это скорее третья.

... А с другой стороны, так ли это безобидно, если ядерными ракетами управлял призрак? Потому что в конце недолгого своего срока Андропов превратился в призрака...

48

О болезни Андропова в Институте узнали одними из первых. Сотрудники все были хорошо знакомы между собой, иные консультировали в Четвертом управлении и шепотом, по секрету, передавали тайную весть: болен смертельно, лежит в Кремлевке, шансов практически нет. Официально это была страшная тайна, государственная, даже члены Политбюро не должны были знать. И на краю могилы Андропов страшился за свою власть. Чтобы никто не

догадался, чтобы не пошли слухи, не разнохали иностранные корреспонденты — а они все-таки разнохали, хотя и не все — устроили инсценировку, точно в гэбэшных традициях.

Да, странно было — Леонид с Валечкой все знали, только детям нини, что Андропов лежит в ЦКБ, прикованный к аппарату гемодиализа, — странно было и слегка не по себе, будто крыша поехала, утром и вечером, в самый час пик, видеть на скорости пролетающий генсек-ковский кортеж: членовозы с затемненными стеклами, машины охраны, мотоциклисты; улицы по случаю перекрывала милиция, мигалки, клаксоны... В пробках, как обычно, стояли простые москвичи. Машин еще мало было, только «Лады», редкие «Волги» и «Москвичи», но — заставляли стоять. Мол, генсек едет. Спешит по срочным государственным делам. Стойте, ждите, смерды!

Они ведь на Кутузовском жили с Валечкой, прямо на правительственной трассе, окна гостиной выходили. Както Леонид поймал себя на том, что — поверил, будто едет генсек. Словно в Институте у них ложные слухи. Не может быть такая инсценировка. Или лучше стало, выздоравливает. Ну, поверил или не совсем, однако, начал сильно сомневаться. Поделится с Валечкой. И с ней происходило то же самое. Шла кругом голова...

О, *они* знали секрет большой лжи! Слаб человек. Чем больше ложь, тем легче он верит...

А через день официально объявили, что — умер; снова траур и снова похороны. Вот тогда только они с Валечкой убедились, что — действительно инсценировка. Лживая была Советская власть...

49

...Вторая картина...

Федорчук²⁵⁶... солдафон, сталинская закваска, энкаведэшник, смершевец... Много позже Леонид узнал, в другое уже время, что это — его... Андропов велел: «наводить порядок» — он и наводил, посвоему, посолдафонски...

До того на Украине Федорчук воевал с интеллигенцией. Мочил без разбору. Художников, священников, поэтов, композиторов²⁵⁷ — при малейшем подозрении. Устрашал... Украина — не Россия. Там все острее было. Не как в интеллигентной, вальяжной Москве... В столице Андропов с Бобковым²⁵⁸ играли с диссидентами в кошки-мышки, профилактировали, запрещали, разрешали, угрожали, предупреждали, наказывали, высылали, использовали кнут, но и пряник тоже... интеллигентная публика, интересовались искусством... Даже Сталин был известный театрал и читатель... Казнил, не без того, но любил и садистские игры... С той же Ахматовой, взяв сына в заложники, играл... Кот Сосо... С Пастернаком разговаривал, вроде бы жалел Мандельштама... Казнил, но и покупал с потрохами... Сталинские премии, гонорары, тиражи, дачи... А этот, солдафон, просто мочил... И в Москве уже по всей стране придумал — облавы. Особенно почемуто в банях и кинотеатрах. Хотя... и на рынках бывало, и даже на улицах. «Почему не на работе?» Недолго продолжалось... Перестарался. Но, странно, многим нравилось. Рабы... Маркиз де Кюстин²⁵⁹ как в воду глядел...

Както в Институте, еще до Андропова — тоже надумали наводить порядок. Мол, опаздывают, слишком долго спят. Ах, с каким восторгом бельевицы, уборщицы, санитарки ловили научных сотрудников. Прямо триумф пролетариата. Локальная классовая война. А ведь вроде были спокойные, приветливые женщины. А тут солдафон...

...В Институте в самом деле ходили в баню. Гена Ларионов, старший научный, обычно собирал компанию по пятницам. В Сандунах в то время было свободно. Как бы историческая ниша между роскошным купеческим прошлым и блистательным милицейскобандитским будущим. Однако много ли советскому человеку надо? Мылись, пили Жигулевское пиво, а бывало — покрепче, но редко, играли в шахматы, потом возвращались и, бывало, сидели в

Институте допоздна. И в тот раз то же самое. Гене советовали: «воздержись». Но он ни в какую: традиция. «Не унижусь до такого рабства, чтобы прятаться. Мне гебня не указ». Пошли, как всегда. И их там застукали. Как раз оказался день рождения у кого-то и они, конечно, выпили. Не сильно, но все же Гена слегка возбужден. Веселенький, тепленький. Сидят в простынях, играют в шахматы. А тут — *э т и*. И кто там на самом деле был пьяный? Потом говорили, что те. Стали простыни срывать, чтобы сфотографировать голеньких для газеты. Вроде городской «фитиль» или даже киножурнал. Красненькие книжки суют, фотограф с камерой. Одним словом, драка. Врезал Гена комуто по первое число, с книжечкой. Завели уголовное дело. Хотели то ли антисоветчину впаять, то ли злостное хулиганство. В общем, закрутились жернова, уж что-то, а портить людям жизнь у нас умели. Гена не сел, но получил два года условно. Ктото с волосатой рукой у него был, вытащил, но из Института пришлось уйти. Сначала врачом работал, потом кудато устроился, потерялся на время из вида.

Всплыл Гена уже в девяностые одним из лидеров «Дем. России». Потом уехал в Европу...

Вот так и освободилась ставка. К тому времени докторская у Леонида окончательно зашла в тупик. Отдел трещал по швам, люди разбегались, а сам Минскер ждал, когда опять начнут выпускать. Вместо Андропова уже был у власти Черненко.

Леонида больше ничего не держало на прежнем месте, и он перешел к Борису в старшие, чтобы все начать сначала. Как сказал на прощание Ларионов: «Стал дважды Сизифом Советского Союза».

50

...Картина третья.

Чернобыльский. В восемьдесят третьем, встретив Анатолия, Леонид впервые узнал, что есть такой город на Украине: Чернобыль. Тогда еще ничто не предвещало...

«Чернобыльский», — вспоминал Леонид Вишневецкий, почти тридцать лет спустя, вышагивая привычным маршрутом вдоль моря, тихого и ласкового, словно дитя. Море едва слышно шептало... быть может, о тех днях, когда отдаленные предки человека впервые вышли на берег... Подобно русалке, в море беззвучно купалась луна...

Несколько месяцев назад Вишневецкий встретил Чернобыльского в Иерусалиме...

— Рад вас видеть в Эрец Исраэль²⁶⁰, — обнял Леонида Чернобыльский, коснувшись бородой его щеки. — Еще один еврей обрел свой дом... Вот видите, как повернулось. А вы сомневались... Судьба решила за вас... Все евреи должны жить дома, — Леонид слегка опешил от напора темпераментного Чернобыльского, а еще больше — от его кипы²⁶¹. — «Когда он стал верующим?» — Леониду захотелось возразить, что бывает поразному и что вовсе не всем евреям обязательно переезжать на Ближний Восток и вместе возражать не хотелось... Чернобыльский выстрадал свою правду...

— Где вы сейчас? Чем занимаетесь?

— Все тем же. Работаю в НАТИВе²⁶². Моя война продолжается — за еврейский народ, за еврейскую культуру. Я в мордовской тюрьме дал себе клятву: бороться до конца дней...

51

Пока дети были маленькие, каждое лето выезжали в Кратово, недалеко от Москвы по Казанской дороге, место в те годы весьма еврейское. Снимали дачу рядом со станцией, с шикарным участком и вековыми деревьями, а через дом оказался ульпан.

Весть об ульпане принесла теща, Марина Николаевна, кандидат медицинских наук, приехавшая на лето помочь с внуками. Она и сейчас, несмотря на преклонный возраст, каждый год приезжает в Израиль: «подлечиться и помолиться», как говорит сама, а заодно повидаться

с детьми, внуками и полюбоваться правнуками, которых совсем не понимает. Леонида всегда удивляло: вроде была атеистка и образованная, никогда раньше не говорила о Боге, а вышла на пенсию, стала ходить в церковь. Особенно после того, как умер тесть. Откуда у русских такая тяга к православию? У самого Леонида к религии был чисто этнографический, исторический интерес, такой же, как к археологии, палеоботанике или к теории происхождения Вселенной, так что он очень оказался удивлен, когда узнал, что Валечку в детстве крестили.

В первые годы Леонид довольно пристально присматривался к Марии Николаевне и к тестю, Юрию Владимировичу — не от них ли слышала Валечка в детстве про плохих «юреев». Но нет, никаких признаков антисемитизма Леонид не обнаружил, скорее наоборот, юдофилии, да может быть, легкое любопытство. Он вообще замечал: чем более либеральных взглядов придерживаются русские, чем более критичны к собственной истории, тем лучше относятся к евреям. Но это вроде были государственники и патриоты. Мария Николаевна сама рассказывала, что очень тяжело переживала разоблачение культа личности Сталина — так тяжело, что буквально на всех людей стала смотреть другими глазами. И не только на людей, и в советской политике, и в прошлом с тех пор она начала сомневаться, очень медленно распуская клубок прежних своих убеждений. Но это она говорила так, ей действительно казалось, что она стала другой, на самом же деле она так и осталась слегка наивной, восторженной и доверчивой.

Тем летом Мария Николаевна подружилась с соседкой, Софьей Исааковной, шумной идишкой²⁶³ с Украины, бабушкой вездесущего мальчика Алика — от нее она и принесла весть.

— Слышали новость? — почти с порога закричала Мария Николаевна, обращаясь преимущественно к Леониду, — в доме у мальчика Алика ваши евреи организовали ульпан. Тото я смотрю: много людей туда ходит от станции. Лёня, не хочешь зайти посмотреть? — о наивная, наивнейшая Мария Николаевна, не знала, не догадывалась, что изучать иврит нельзя, и еврейскую историю тоже, еще больше нельзя, чем верить в русского Бога.

«Ульпан» — слово было новое, неизвестное, Лёня не сразу понял, о чем речь.

— Изучают иврит, еврейскую историю, готовятся к отъезду в Израиль, — как заправская сионистка стала пояснять теща, просвещенная бабушкой Алика. — Говорит, среди них много отказников.

По этому случаю и всплыла история то ли про крещенного, то ли полного безбожника еврея Илью, художника и эрудита, соперника Николая Алексеевича, то есть начмата, как с детства привык называть его Лёнечка, — этот Илья первым предложил руку и сердце Валечкиной бабушке, сироте, дочери белого офицера, но чуть ли не через день страшно погиб. Ввязался в драку с уголовниками — его избили и столкнули под трамвай. «Так что я могла быть наполовину еврейкой, — легкомысленно сообщила Мария Николаевна, — это с тех пор за нами ходит».

52

Именно тогда Леонид и познакомился с Анатолием Чернобыльским, или Натаном, как тот себя называл. Разговаривали они раза четыре или пять — подолгу, об очень многом и важном. Иногда в их разговоре принимала участие Валечка. От Чернобыльского Леонид много узнал нового. О еврейском движении — в первую очередь. Или о сопротивлении, как выразился както Натан. До того Вишневецкий немало чего знал — слышал по голосам, но в устах Чернобыльского все выглядело грандиознее, словно настоящая война, мало кому известная, но — настоящая: с захватом приемной Верховного Совета, с голодовками на Центральном телеграфе, с письмами в ООН, с Хельсинкскими группами и обращением к Белградской конференции²⁶⁴, с торжественными собраниями в местах фашистских массовых казней²⁶⁵, с летними лагерями учителей иврита, с нелегальными конференциями и приглашениями Нобелевских лауреатов, с самиздатовскими журналами, с ульпанами по изучению иврита, еврейской

истории и традиций, с возрождением ранее запрещенной академической иудаики²⁶⁶; война с антисемитами сталинцам и давно выплеснувшаяся за пределы СССР, с грандиозными митингами и поправкой Джексона-Вэника²⁶⁷. Сейчас, много лет спустя, Леонид уже не мог вспомнить твердо, что он знал раньше, а что — впервые услышал от Чернобыльского. Но в этом ли дело? От Чернобыльского, кажется, Леонид впервые услышал фамилии писателя и поэта Губермана и правозащитника и самиздатовца Гинзбурга, осужденных за издание журнала «Синтаксис»²⁶⁸, про мужественного Александра Подрабиника, написавшего о карательной психиатрии, о политических тюрьмах в Мордовии, о трагической судьбе Александра Липавского, которого заставили выбирать между предательством и расстрелом отца²⁶⁹ и о том, что Сталин пообещал Риббентропу «решить еврейский вопрос»²⁷⁰.

Полной неожиданностью оказалось для Леонида Вишневецкого, что борются не только евреи и правозащитники: Натан рассказывал о немецком национальном движении, о самосожжении в Каунасе Ромаса Каланты²⁷¹ и о ежегодных манифестациях в Литве в память о нем, о покушении на Брежнева²⁷² и на главу компартии Эстонии Вайно²⁷³, о массовых манифестациях в Грузии в защиту грузинского языка²⁷⁴.

— Мы не остановимся. Тюрьмы нас больше не пугают. Мы будем стоять до конца. Пока нас не выпустят в Израиль, — уверенно говорил Натан. — Им же самим лучше отпустить нас и избавиться от головной боли. Советская экономика в плачевном состоянии, империя трещит по швам, а тут еще Афганистан. Красные фараоны долго не выдержат.

Среди отказников есть экономисты, люди выдающиеся, математики. Они утверждают: «Все идет к концу. Все рухнет под тяжестью военных расходов».

В Кремле давно не понимают, что происходит с Советским Союзом, — продолжал Чернобыльский. — Они слепы, абсолютно слепы со своей «передовой» теорией. Слепы и злобны. Вы не читали книгу Андрея Амальрика²⁷⁵? Он, скорее всего, гений...

Словно в воду глядел Натан. И — будто некий архипелаг предстал перед Леонидом с Валечкой. Не прежний ГУЛАГ, описанный Солженицыным, но — похожий, и вместе — война, невидимая, тайная, ширящаяся. Архипелаг из психушек, лагерей, тюрем, но и героев тоже. Атлантида, скрытая от глаз, где жертвы превращались в бойцов, где империя медленно отступала. Увы, они не поверили тогда — советская империя казалась вечной.

И все же Леонид, и Валечка тоже, смотрели на Чернобыльского с восхищением. Леонид не был сионистом, но горячо сочувствовал — еще от папы он часто слышал имена Теодора Герцля²⁷⁶, Макса Нордау²⁷⁷, Мартина Бубера²⁷⁸, рассказы про Базельский конгресс²⁷⁹, помнил даже словастихи Владимира Жаботинского²⁸⁰, посвященные смерти Герцля: «И днем конца был день его расцвета, и грянул гром, и песня не допета, — но за него мы песню допоем».

Леонид очень сочувствовал сионистам, но еще больше симпатичен ему был антисоветчик Чернобыльский, потому что всеми фибрами души он не любил *и х* власть, *и х* несвободу. Он бы и сам с восторгом участвовал в еврейском движении сопротивления: писал бы статьи, письма, ходил на демонстрации, издавал самиздат, но нет — нельзя. Семья, дети, Валечка, перед ним открывалась карьера, да и тюрем советских, изоляторов, про которые рассказывал Натан, психушек, он боялся смертельно. Он подозревал, что не выдержит *и х* тюрьмы, *и х* допросы, что не готов к голодовкам, как Щаранский или Натан. Он был нормальный человек, не герой. Леонид боялся красных фашистов. Это Чернобыльский — настоящий сионист, революционер, борец. Увы, Леонид из другого теста. И потому, когда Натан пригласил изучать иврит и еврейские традиции, он очень деликатно отказался. У Леонида не было для этого ни времени, ни сил, ни, главное, душевной устремленности. Он снова должен был работать над своей докторской. Да и Чернобыльский не настаивал. Даже напротив, предостерегал от участия в еврейском движении. «Оно — не для всех. Только для самых одержимых, кто не жалеет себя. Для людей осо-

бой породы. Так что прежде сто раз подумайте. Тем более, вы только что получили старшего. Потерять работу легко, а что потом? Не исключено, что многомного лет изгойства. Поиздеваться, сделать жизнь невыносимой, это они умеют. Мы выдерживаем только благодаря солидарности».

Чернобыльский рассказывал, что и сам всего несколько лет назад, до первого лагеря и тюрьмы, испытывал немалые сомнения. И он, и жена. Они были математиками, числились инженерами в НИИ, а математиков почти не отпускали — не хотели дарить бесплатные кадры врагам: США и Израилю. Чем ниже был образовательный уровень, тем легче было уехать. Из их института двоих математиков завернули до них. Так что они с женой догадывались, что им предстоит. Оказалось, много хуже... Оттого медлили, пытались собрать деньги на черный день, но все равно собирались, а пока он втягивался в эту жизнь, другую — стал дружить с диссидентами, с отказниками, посещать собрания, маевки, изучать иврит, историю, традиции. Он ведь тоже был никакой еврей, ничего не знал и не соблюдал, как дикая ветка на тысячетлетнем дереве...

За Чернобыльским, очевидно, следили. В каждой лаборатории, в каждом отделе имелся сексот. А он, ничего не подозревая, стал ксерить самиздат на ротапринте в своем НИИ. Обычные статьи, даже понастоящему не антисоветские, старые дореволюционные книги по еврейской истории. При царе их можно было издавать, но при Советской власти запретили. И получил за это четыре года. Мог выдать товарищей, кто давал ему книги, и получить условный срок; его уговаривали, хотели подвести под организацию, но он устоял. Самый лучший способ устоять — не разговаривать *с ними*. Никак. Никогда, ни о чем. Нельзя пытаться играть по *их* правилам с КГБ, они всегда переиграют. Подкуп, шантаж, провокации — это *их* оружие, смесь навыков царской охраны и катехизиса революционера...

В тюрьме уже Чернобыльский понял, что не боится больше, что способен стоять до конца. Даже азарт к нему пришел. Они ведь и в тюрьме пытались ломать, подкупать, провоцировать — у них имелось множество способов, но он одержал над ними несколько маленьких побед, заставил соблюдать ими же установленные правила. У него было только одно оружие: голодовка. И он — голодал. И еще письма и жалобы. Казалось бы, абсурд, но письма *о н и* читали. И иногда действовало. В редкие свидания заставлял жену учить свои письма наизусть, передавал через эзков. В тюрьме он понял, что у него, по сути, нет выбора. Только противостояние. До конца. Сионистское движение в СССР — это та же революционная борьба. Только евреи никого не хотят свергнуть, ничего не хотят захватить, хотят только одного — уехать. И — сохранить себя, свой народ.

53

Много лет спустя, совсем в другой жизни, Леонид прочитал в воспоминаниях у Щаранского, что тот почти сто дней держал голодовку, требуя вернуть «Книгу псалмов царя Давида». Натан, — Щаранский ведь тоже Натан, — кажется, добился своего, одержал свою маленькую победу. Но переносить карцер, голодать, поставить на карту жизнь, и все ради принципа, перед *этими*, ведь и не узнает никто — нет, Леонид это не понимал. Он *и х* презирал, как и Щаранский, недочеловеки, но не до такой же степени.

Честно сказать, Леонид и представить себе *их* не мог, этих тюремщиков. Да, очевидно, плохие люди, жестокие, злобные, но попробуй не ожесточись на их сатанинской работе, в подручных у Дьявола. *Их*, палачей, тоже ведь ломала жизнь. У них тоже были семьи. Когда то они тоже были людьми? Или не были? И страх, совесть... Быть может, совесть особенно выворачивала, ожесточала... Чтобы выжить, не сойти с ума, им тоже нужна была вера, что — враги, что кругом враги... Шпионы... Что все, что делается — правильно... Вера, или алкоголь, или крайний цинизм, или полная бесчеловечность. Или — не думать ни о чем...

Так, поколение за поколением, сначала в царской, потом в советской империи... Только иногда палачи и жертвы менялись местами. Особенный психотип. Палачи — они ведь тоже жертвы... Мрачные, холодные, северные люди... Под низким серым небом... Когдато Хрущев пытался свалить все на Сталина. Но нет... Не Сталин... Не он один... Сталин был в них, в каждом из них... Сталин умер, а они остались — такие же. Со Сталиным внутри. И после Сталина мало что изменилось... Разве что масштабы, а люди — те же. Система...

...Чернобыльский так же объявлял голодовку, как Щаранский. Он — изза того, что лишили свидания с женой. На сей раз тюремное начальство выдержало ровно три недели, а потом пошло на попятный. Время вроде другое, не сталинское, и заграница. Диссидентская солидарность, радиоголоса...

...Свидания лишили изза того, что отказался донести на соседабандеровца... Хотя какой он бандеровец? В их маленьком городке ктото раскрасил статую Ленина желтой и голубой краской. Милиции нужно было закрыть дело, вот и выбрали его. Подкинули в сарай коробки с краской и с кистями. А все изза того, что незадолго до этого поругался с милицейским майором. Вот тот и решил отомстить, как только представился случай.

Леонид был очень далек от всего этого... Другая жизнь. Зазеркалье... Да, там — зазеркалье. Он смутно представлял тюрьму, лагерь, соседабандеровца... И, однако, едва не попал в капкан. Едва не пошел той же дорогой... как Чернобыльский. Начинаетсято всегда с малого.

54

Леонид попросил у Чернобыльского самиздатовские журналы, почитать. Ничего особенно в них не было, антисоветского. Статьи на еврейские темы. Традиции, история, хроники, статья про самолетчиков Кузнецова и Дымшица и их обмен в НьюЙорке на советских разведчиков²⁸¹.

Леонид с Валечкой прочли журналы и уехали на несколько дней посмотреть Вильнюс, оставив с детьми на даче Марию Николаевну. И только они уехали, как нагрянули на дачу к Софье Исааковне — там несколько семей жило в ульпане во главе с Чернобыльским. Он там всем был: и организатором, и учителем, разработал специальную программу изучения языка для детей, а взрослым читал лекции по истории. Кроме Чернобыльского еще два преподавателя приехали на неделю: языка и традиции, оба с Западной Украины. Все стали переворачивать вверх дном; все — литературу, книжки на иврите, буквари, детские тетрадки, рисунки, вещи, даже в пианино залезли и вырвали струны, везде искали самиздат, а больше старались запугать. Женщин с детьми — всех уложили на пол лицом вниз. Понятых *они* привезли с собой, это были специально обученные люди, поднаторевшие, для суда.

Мария Николаевна, услышав крики и лай, истерический, отчаянный — лай тут же стих, собаку убили — увидев дюжих людей в соседнем дворе, топчущихся на клумбах, сразу все поняла, в мгновение собрала детей, спрятала в сумку журналы, прикрыв продуктами и старыми газетами, и бросилась к электричке. Никто ее с детьми не преследовал, но это она только потом поняла, а тут от станции шли какиеето не по летнему одетые мужчины в форменных ботинках и серых носках — про носки она знала, она ведь врач, на работе всегда говорили, что *люди оттуда* приходят в серых казенных носках, скупятся заменить на свои — она так перепугалась, что ей плохо стало с сердцем. Но она доехала, довезла детей до дома и свалилась с гипертоническим кризом. Успела еще вызвать скорую помощь.

По Кратову долго потом ходили самые разные слухи. Мало кто мог предположить, что Чернобыльского и еще двух мужчин могли арестовать за то, что они преподавали иврит, рассказывали об истории и традициях и хотели уехать в Израиль, — лишь многочисленные в Кратове евреи шепотом возмущались, — большинство же решило, что дело связано со шпионажем, благо в километре от Кратово находился Жуковский²⁸². Впрочем, бытовала и другая

версия, вероятно, более близкая к реальности — Чернобыльский мстили за то, что он встречался с иностранными корреспондентами и записал интервью для радио «Свобода».

Суд состоялся осенью. В зал заседаний пыталась проникнуть добрая Софья Исааковна, но ее не пустили. В зале разместились исключительно специальные люди, которых привезли для того, чтобы они от лица всех советских людей выражали горячую поддержку обвинению. Но все же Софья Исааковна узнала от родителей Натана, приехавших на суд с Украины, что Чернобыльский все взял на себя, его судили за клевету, распространение заведомо ложных сведений о Советском Союзе, да еще и за тунеядство, так что приговор: шесть лет, казался по советским меркам не слишком суровым и даже гуманным, а двум его поделщикам дали и вовсе небольшие сроки.

Так вышло, что и этот срок — шесть лет — Чернобыльский просидел едва ли на две трети: время стремительно менялось, Союз на всех парах устремился к концу, к распаду, узилища вскоре открылись — в декабре тысяча девятьсот восемьдесят шестого года Горбачев решил вернуться в Москву из горьковской ссылки академику Сахарову; Натана же выпустили из лагеря в конце восьмидесят седьмого, а в восьмидесят восьмом он вместе с семьей уехал в Израиль. Он оказался одним из немногих отказников и диссидентов, кто удостоился чести вскоре после выезда из СССР быть принятым Джорджем Бушем старшим, но, странно, Леонид Вишневецкий узнал об этом только больше четверти века спустя, встретив случайно на улице Бен-Егуда в Иерусалиме.

Натан предложил зайти в кафе и, пока пили кофе с пирожными, говорил, почти не останавливаясь. Рассказывал, что по долгу службы он много раз ездил в Россию, сознался, что любит ее и не держит зла, даже Чистопольскую тюрьму он вспоминает со смешанным чувством: с одной стороны, там было много тупых садистов в погонах, но, с другой, немало и замечательных людей. «Потому что страдание многих делает лучше, чище, человечней, казалось бы, вопреки всякой логике», — утверждал Чернобыльский. «Да, он больше всего Россию жалеет, — продолжал Чернобыльский, — потому что в России все повторяется заново. Большинство людей обо всем забыли, там снова добрыми словами вспоминают Брежнева, Андропова и особенно Сталина, мечты и вера в величие страны в России странным делом перемешались с комплексами безнадежности и отчаяния. Россия, — говорил Чернобыльский, — несчастная страна, разворованная, у которой собственная элита хочет украсть будущее. Россия — очень расколотая страна, веками. Российские либералы ориентированы исключительно на Запад, примеряют то американский смокинг, то немецкий кафтан, но при этом страдают патологической дальнорзоркостью. И даже русские националисты — я имею в виду не уличных хулиганов и патологических ксенофобов, а вроде бы просвещенных людей — они тоже озабочены не прагматической защитой собственных этнических интересов, но чемто внеположенным, мессианским... Некой мессианской империей... Несбыточной... Вроде Китежграда... Третьего Рима... Река истории течет вперед, а они гребут исключительно назад... Отсюда, кстати, их нелюбовь к евреям... Евреям чужды их мессианские, химерические мечты... Хотя у евреев тоже присутствует мессианство, но — другое...

...Мессианство русских «патриотов» странным образом переплетается с верой в русскую особость, с почвенничеством... Наш космополитизм глубоко чужд их почвенничеству... Мы для них чужие. Древний разлом от споров фарисеев и первохристиан все еще существует. Он, вероятно, глубже, чем от раскола церкви — я имею в виду христианство, — на западное и восточное...

Дух антисемитизма вылетел в России из высоких кабинетов... Надолго ли?.. Но он не исчез... Он бродит по пьяным и грязным улицам... Тем более, — продолжал Чернобыльский, — что еврейские олигархи раздражают еще больше, чем русские. Один Березовский стоил тысяч глумливых антисемитов... Ведь мы — чужие. Мы — умные, но мы — чужие... Особая общность.

Он агитирует и убеждает еврейскую молодежь ехать в Израиль, — продолжал Натан. — Вернуться к корням. Израиль — маленькая страна, островок среди враждебного арабского мира, хотя у нас общие предки, мы — крепость Запада, который так долго отвергал и преследовал еврейский народ, держал в гетто, распространял наветы... Крепость посреди бушующего зеленого моря ислама. Израиль — маленькая страна, сохранившая и возрождающая свою культуру, свои традиции, свою историю, своего Бга...

Вот почему я ношу эту кипу, — с неподдельным восторгом продолжал Чернобыльский. — Я заключил свой личный завет с Бгом... Мне не важно, есть Он, или Его не. Он должен быть...

Две тысячи лет мы блуждали по миру, как по Синайской пустыне. За это время земля, что дарована нам Бгом, земля, где реки текли молоком и медом, превратилась в пустыню. Но вот мы вернулись — и она снова заблагоухала и заплодоносила. У маленького Израиля есть будущее. Через пятьдесят лет молодых израильтян будет больше, чем молодых немцев. Вот наш ответ Гитлеру. Наш ответ на Холокост. Мы не исчезнем... Мы возродили свой язык, свои традиции, даже русские евреи стали ходить в синагоги... Вот наш ответ Сталину.

Мы сумели соединить социализм древних пророков с либерализмом великих греков.

Мы и сегодня могли бы быть великой державой, многочисленным народом... Не ближневосточной сверхдержавой, а мировой. И занимать все земли, что даны нам Бгом. И никто бы не оспаривал... Возможно, история пошла бы иным путем, если бы мы изза собственных распрей и амбиций не потеряли одиннадцать колен... Мы — народ мечты, народ будущего», — заключил Чернобыльский.

«Мы уже не только евреи, — хотел возразить Леонид Вишневецкий. — Мы — наполовину русские. Мои дети — по крови, а я — так... И Валечка — русская... Хотя отчасти почти еврейка. И, честно сказать, русские интеллигенты пока мне ближе, чем марокканские евреи... Тысячи русских, десятки тысяч — такие же космополиты, как мы. Глобализация — это и есть космополитизм. Мы просто всегда чуть-чуть опережаем время.

И ведь вы, Натан, уже не космополит, а почвенник...», — но спорить с Натаном не хотелось. Всякий народ состоит из своих либералов, социалистов, националистов, патриотов. И даже, как кто-то сказал, «каждый народ имеет право на своих негодяев». Сионист, мечтатель и философ Чернобыльский, хоть и националист, никому не сделал зла. Он герой и альтруист. Такие, как он, образуют стержень нации, ее силу. В чемто он, может, и неправ, но в то же время прав. И если Натан, как говорит, собирается идти на выборы, Леонид обязательно проголосует за него. За «Наш дом»... На Натана можно положиться. Он из тех людей, которые не предадут. Которые стоят до конца...

55

К середине жизни Леонид обнаружил интересную закономерность: субъективно время воспринимается нелинейно, будто постепенно ускоряется из года в год. В детстве оно тянулось медленно, неторопливо, словно ему некуда было спешить, чуть ли не каждый день полон был значительных событий, ярких впечатлений, открытий — оттого раннее детство и школьные годы казались бесконечно долгими, но чем дальше, тем дни мелькают стремительней, как будто слипаются между собой, склеиваются в недели, те — в месяцы, а месяцы скручиваются в годы... Течет, все быстрее мелькает жизнь... Он ощутил это после тридцати пяти, когда снова корпел над докторской...

Анализы, больные, исследования. Изучение генетических факторов, психоэмоциональных. Рутинизация изо дня в день, все почти одно и то же — это называлось набором статистики... Ощутил впервые, что время скукоживается, слипается, тает, будто шагреновая кожа. И тотчас забыл. Нет, не совсем, помнил. Старался почаще ходить в кино и театры с Валечкой. Летом

ездил в отпуск с детьми. И все же... Это ощущение возвращалось все чаще... Чтото происходило... Он не мог бы определить, что, где — с ним, в нем, или во внешней среде, но время определенно ускорялось... Ему казалось, что внуки взрослеют намного быстрее, чем когда-то он сам, что детство у них более короткое. Вот они только были грудными младенцами, и уже бегают, разговаривают, мыслят, пошли в школу...

В том, что Леонид так ощущал, заключался некий физиологический механизм: укорочение или изменение с возрастом третичной структуры ДНК. Когда-то Леонид подробно об этом читал, но тогда это показалось неактуально, а со временем детали забыл. Вроде бы тот же механизм, что ведет по мере возрастных изменений к ухудшению памяти. Сейчас он вспомнил об этом изза Черненко.

Изза Черненко... В одно мгновение промелькнуло пустое царствование, а скорее междоцарствование предпоследнего генсека. Словно пошлый анекдот... Только одно отпечаталось: полуживого, задышающегося, эмфизематозного старика, поддерживая под руки, втаскивают помощники на трибуну. Старец не мог идти сам, ноги не слушались его, злые языки потом утверждали, будто и ноги переставляли все те же помощники.

Наконец, живой труп — о, сколько символического заключалось в умирающем, жалком старце! — с трудом взобрался на трибуну, напялил очки, слегка ожил и, задышавшись, кашляя, путаясь в предложениях, принялся медленно и невнятно читать подложенный ему банально-ортодоксальный текст. Ни одной свежей мысли. Временами казалось, что он вообще не понимает, что читает...

...С этого момента страна, почти не скрываясь, начала готовиться к новым похоронам...

«Кто сказал, что свято место пусто не бывает? — размышлял Леонид Вишневецкий. — Тряпчатая кукла под образами членов Политбюро. Вот и все, к чему пришли».

Волчок истории обернулся за год — дублем фарса. Снова гроб — один в один. Снова лицемерные толпы. И за гробом — те же. Прежние каракулевые воротники, шапкахаты из позавчерашнего дня, и сами... позавчерашние... словно червивые грибы...

...Привычные, поднатеревшие офицеры почетного караула печатают шаг...

...Сон... Спит Советский Союз в летаргическом послесталинском сне... Только изредка прежние кошмары снятся... Спит, ошетилившийся ракетами... вздыхает тяжело... пробудиться не может...

Все мертво... Испита прежняя чаша до конца... Только на сей раз слабо теплится надежда. Среди черносерой толчеи главных ленинцев — новый вожь, молодой, пятидесяти-трехлетний, энергичный, с отметиной на лысой голове. Тот самый второй секретарь, что читал когда-то папину книгу.

Об отметине на голове генсека и говорил народ все первые годы, будто Бог смилостивился и послал чудо, решил спасти Русь. Меченому поверили сразу, едва он произнес «перестройка». Простой народ, провинция — бог весть, Леонид не знал, что думают люди на Сахалине и Камчатке, выстаивая в длиннющих очередях, но московская интеллигенция влюбилась в Горбачева сразу. *Э т о т* хоть умел говорить, хотя путал иногда ударения. Но ударения, мягкое «г» и «Азербайжан» прощали ему. А во что еще, кому еще было верить?

Когда Леонид учился в Ставрополе, кафедрой судебной медицины там заведовал известный на весь Союз профессор Литвак, у которого была любимая присказка: «В Ставрополе — умничка, в Москве — дурочка». Вот изза этой присказки Леонид Вишневецкий и вспоминал теперь Литвака.

Чем больше Леонид анализировал политику Горбачева, да и его самого, тем больше приходил к выводу, что — «дурочка». Начать хоть с команды. Запрячь в один воз Лигачева и

Яковлева, людей взглядов диаметрально противоположных. А вицепрезидент Янаев, жалкий человек с трясущимися руками²⁸³? А ретроград Лукьянов²⁸⁴? А «плачущий большевик»²⁸⁵ и сменивший его выпивоха Павлов²⁸⁶, наглый, лживый, которого все ненавидели, автор конфискационной реформы? Они все показали себя — во время ГКЧП²⁸⁷.

И сам Горбачев. Стратег — никудышний. Верхогляд, который не умел предвидеть и хронически отставал от событий. Вечно суетился и вечно опаздывал. Принялся за перестройку без детального плана. И притом в экономике — нуль. Ставропольский сельхозинститут не помог²⁸⁸. Горбачев — это именно тот случай, когда благими намерениями мостят дорогу в ад. Госприемка, закон «о госпредприятии» — мимо цели, волюнтаризм, но типично для Горбачева: прыгать над пропастью мелкими шажками. А антиалкогольная кампания? Пить намного меньше не стали, но страну озлобил и экономику добил. И зачем было браться за машиностроение, когда во всем мире начинали с легкой промышленности? Когда и до того был перекося.

Чего Горбачев стоит, можно было понять намного раньше, когда его бросили на место Кулакова²⁸⁹: затеял создание гигантского суперведомства по производству продовольствия вместо того, чтобы просто дать людям немного свободы. Сталински мыслил, побольшевиistically, масштабно, в духе замятинской антиутопии²⁹⁰, но, конечно, все осталось на бумаге. Горбачевский «агропогром»²⁹¹ закончился пшиком, как и другие его реформы.

Но чем дальше в лес, тем больше дров: кооперативы, центры НТТМ²⁹², биржи — пустые деньги хлынули в не обеспеченную товарами страну. Вот тебе и пресловутый навес²⁹³, и окончательно опустевшие полки магазинов.

Однако вот парадокс: добив экономику и так и не поняв ничего, Горбачев принялся за политические реформы. И там все то же: кардинальных реформ боялся, как черт лада, все шаг вперед и два назад. Сам начал и сам испугался. Вместо свободы — гласность, вместо демократии — демократизация. Как острили шутники: «Какая разница между демократией и демократизацией? Как между водопроводом и канализацией».

Горбачев, видно, самонадеянно полагал, что сам будет определять границы дозволенного, но — куда там: не нужно было, Миша, играть со спичками. Потерял авторитет и трусил: ни силу не решался применить, ни вперед идти, ни назад. И властолюбца Ельцина раскусил слишком поздно. А в результате остался один.

С самого начала шансов у Горбачева почти не было. Империя, похоже, была обречена. Система умирала. И все же... Горбачев обязан был знать то, чего не знали другие. Каждый день к нему на стол ложились аналитические записки и сводки, все специалисты, какие имелись в стране, были у него под рукой. Но он был слеп. На что он рассчитывал? Заговорить страну? Самонадеянный нарцисс...

Но парадокс заключался в том, что самонадеянный, бесталанный Горбачев — лучший. Первый человек на троне, кто не был зомбирован до конца. Первый, кто освободился от сталинского гипноза. Его «новое мышление», хоть и не новое вовсе — тысячи интеллигентов на кухнях, в лабораториях, в институтах на много лет опередили его — и все же оно коечто значило, это «новое мышление». Мир становился иным, железный занавес рушился.

Ломка Горбачева происходила на глазах у всей страны. Трудно, медленно, с отступлениями, постепенно он превращался из коммуниста в социалдемократа. Первый за долгие годы явил миру человеческое лицо. И — оказался неожиданно слабым, нерешительным, не тем железным безликим генсеком, к которым привыкли. Но, может, это и спасло мир, сохранило тысячи жизней, избавило страну от Гражданской войны? Другие далеко не дотягивали до него...

Кто там были другие? Кондовый коммунист с татуировкой на руке, недоучка Иван Полосков²⁹⁴? Антисемит, любитель поговорить про мировую закулису батька Кондрат²⁹⁵? Гонитель

ленинградской интеллигенции Романов²⁹⁶, прославившийся битьем царских сервизов? Беспринципный властолюбец и популист Ельцин, возглавивший революцию и успешно мимикрировавший под демократа, но, в конце концов, саморазоблачившийся? Поклонник Нины Андреевой, ельцинский преемник в Свердловске и первый глава его администрации Юрий Петров²⁹⁷? Амбициозный генерал Руцкой²⁹⁸? Скоков²⁹⁹? Система вырождалась с головы. Вот когда аукнулись «философские пароходы». Сталинская селекция кадров закончилась катастрофой...

...Советский Союз был обречен... Горбачев и Ельцин, два антипода, два сапогапарочка, внук и сын репрессированных — лучшие? Других — не было. Каждый из них занял именно то место, которого заслуживал. На безрыбье...

57

В декабре тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года, после Женевы и Рейкьявика³⁰⁰, состоялся первый визит Горбачева в США. Подписан был договор о ликвидации ракет среднего и меньшего радиуса действия — огромный прорыв в области разоружения. Об этом и сообщали все мировые СМИ. Но только много лет спустя, в Израиле уже, Леонид случайно узнал, что в те же дни в Вашингтоне произошло и еще одно очень важное событие: состоялся грандиозный четвертьмиллионный митинг в защиту права на эмиграцию советских евреев, против принудительной ассимиляции. Десятки тысяч людей на собственных автомобилях, в автобусах, на поездах ехали в те дни в американскую столицу, чтобы потребовать от Горбачева: «Отпусти народ мой». Не только американцы, но и граждане Латинской Америки и Европы, из Израиля, не только евреи. Среди выступающих были вицепрезидент США Джордж Бушстарший, сенаторы и конгрессмены, губернаторы, мэры городов, католические и протестантские священники, лауреаты Нобелевской премии, лидеры еврейских общин.

Дрогнул ли перед столь мощной демонстрацией единства и солидарности — это был самый большой еврейский митинг в американской истории — советский генсек, нет ли, трудно сказать, потому что легкие послабления начались раньше, но постепенно запертые наглухо ворота открылись, приподнялся железный занавес, и с тысяча девятьсот восемьдесят девятого года начался массовый выезд советских евреев. В первый год большой алии³⁰¹, в восемьдесят девятом, эмигрировало более семидесяти тысяч, за три года — почти полмиллиона...

...Свобода обрушилась на них слишком внезапно. Власть больше не удерживала и не мешала, да и — с каждым днем все меньше становилось власти, вместо нее постепенно нарастал хаос... Некоторое время все продолжало идти по инерции... Действовали старые инструкции, и по этим инструкциям Валечка попрежнему считалась невыездной...

Из этого времени запомнились толпы на Арбате... Свобода или ее предвкушение... Поэты читали стихи, как когда-то в Политехническом. Стихи были смелые, против власти... Леонид запомнил: молодой поэт, скуластый, громкоголосый, отдаленно похожий на Евтушенко, потрясая кулаками, посылал проклятия Кремлю... Чтото про лагеря, про замученных, про Соловецкий камень, которого еще не было³⁰². Люди аплодировали. Немолодая женщина плакала... И — гремели гитары на Арбате... В том месте, где сейчас стена Цоя; он еще был жив. Тут же, собравшись большими группами, спорили, начнется ли Гражданская война. Тогда же появились на Арбате художники. Сидя на низеньких стульчиках, они писали картины, рисовали карандашами портреты... Картины и портреты жадно покупали иностранцы. И еще продавали матрешек — с лицами Ленина, Сталина, Брежнева, Горбачева и Ельцина. Перед выборами на съезд Народных депутатов СССР³⁰³ матрешки, похожие на опального Ельцина, стали особенно популярны.

Однако какая свобода в России без ушата грязи? «Память»... В октябре восемьдесят пятого разнеслось про скандальный вечер во Дворце культуры имени Горбунова «Москва... Как много в этом звуке», организованный реставраторами и скульпторами, когда впервые на всю Москву — да может и на весь Союз — прогремел антисемитфотограф Васильев, обвинивший в разрушении исторической Москвы «сионистов». В тот вечер сподвижники Васильева несогласных выводили из зала. Говорили, что за Васильевым — спецслужбы, что он будто бы убил свою жену³⁰⁴, много лет подвизался вокруг Глазунова, даже помогал ему якобы готовить декорации для Камерного еврейского музыкального театра³⁰⁵, но, в конце концов, их отношения закончились громким скандалом³⁰⁶.

Антисемитизма не стало больше, но он стал крикливее, громче. В мае восемьдесят седьмого *о н и* пришли на Манежную и это была грозная сила — черная, махровая — с ними полтора часа разговаривал Ельцин³⁰⁷. ... Позже они разместились в Донском монастыре³⁰⁸, потом в МарфоМариинской обители³⁰⁹. И еще — в девяностом

о н и устроили погром в Центральном доме литераторов — напали на писателей из «Апреля»³¹⁰, избили писателядемократа Курчаткина. Погромщиков возглавлял широко прославившийся к тому времени ярый антисемит СмирновОсташвили, якобы любитель литературы, основатель и вождь клуба друзей «Нашего современника», даже член редколлегии. Он же, СмирновОсташвили, видный член патриотического объединения «Отечество» во главе с известным историкомантинорманистом, завзятым «борцом с сионизмом» и русским националистом Аполлоном Кузьминым³¹¹, которого хорошо знал Василий Лисицын. «Кузьмин неглупый мужик, но с пунктиком, — смеялся Василий. — Он антинорманист не потому, что таковы факты, а потому, что это ближе к его патриотическим убеждениям. Одержимый человек. Заставлял своих студентов разносить листовки».

Русский нацизм, — а это был именно нацизм — обнаруживал явную претензию на определенную интеллектуальность. У него были свои газеты, журналы, адепты с научными степенями, вхожие в приличное общество политики, связи в спецслужбах, мифы, деньги. А рядовые бойцы разбрасывали и расклеивали листовки в Малаховке и в Кратово, где Леонид с Валечкой недавно еще снимали для детей дачу, угрожали еврейским погромом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.